

ВЕЛИКИЙ ГРАБЁЖ

ТОМ II – ЕГИПЕТСКАЯ КАМПАНИЯ



РОБЕРТ КАЗАНОВАС

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН



АННОТАЦИЯ

Великий грабёж, Том II – Египетская кампания (1798–1801)

Второй том исторической саги в четырёх томах, посвящённой наполеоновским грабежам. Роман рассказывает о самом эффектном из великих грабежей – Египетской экспедиции.

19 мая 1798 года из Тулона выходят в море триста кораблей. На борту – армия из сорока тысяч солдат и ста шестидесяти семи учёных. Место назначения засекречено. Миссия же секретна лишь для публики.

Бертолле в личных записях называет это предприятие *«операцией по приобретению»*. Бонапарт же говорит: *«научная экспедиция»*. Это два названия одной реальности, за которой роман следует шаг за шагом – от взятия Мальты до берегов Нила и до парижских мастерских, где родится *«Описание Египта»*.

Сквозь записные книжки Денона, теодолиты Жомара, банки Жоффруа Сент-Илера и умолчания Бертолле раскрывается скрытый механизм просвещённого грабежа: красота учёного жеста и насилие грабежа, которое она скрывает. А на полях Хасан ибн Юсуф – переводчик, свидетель, память – записывает то, о чём люди науки не пишут.

В конце пути остаётся вопрос без ответа: в чём разница между тем, чтобы увезти вещь, и тем, чтобы увезти её образ? Розеттский камень – в Лондоне. Оттиски – в Париже. А Египет остаётся на берегу своей реки.

ОБ АВТОРЕ

Роберт Казановас, ранее опубликовавший романы *«Украденная комната»*, *«Завещание было подделкой»* и *«Грабёж»*, – почётный профессор-агреже, член Общества литераторов Франции. Юрист, увлечённый историей художественных собраний, он многие годы посвятил изучению присвоения произведений искусства государствами. Как президент НПО International Restitutions, он подготовил множество научных работ по этой теме.



Великий грабёж**Исторический роман в четырёх томах**

Роберт Казановас

casanovas@hotmail.com

Обязательный экземпляр: апрель 2026 г. — электронная книга и
бумажное издание

© 2026 Казановас. Все права защищены

ISBN: 978-2-488999-72-4

www.international-restitutions.orgОбложка: Репродукция Розеттского камня в натуральную величину,
помещённая в оптический театр, Музей Шампольона в Вифе (Изер,
Франция)

17 июля 2022 года — Жюльен Пейтар

**Русская версия****Том II****1798–1801 — Кампания в Египте****3^е издание, пересмотренное и исправленное**

Другие книги автора:

«Украденная комната» (исторический роман)

«Завещание было подделкой» (исторический роман)

«Грабёж» (исторический роман)

«Великий грабёж. Том I — Рождение системы» (исторический роман)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот роман — историческая проза, основанная на подлинных исследованиях. Все упомянутые произведения действительно были изъяты во время французских завоеваний между 1794 и 1813 годами.

Большинство персонажей существовали на самом деле.

Ход событий воспроизводит подлинные и проверенные факты.

В интересах повествования некоторые персонажи, сцены и диалоги могли быть вымышлены.

Оригинал романа, написанный по-французски, был переведён на несколько иностранных языков. Переводные версии могут содержать языковые ошибки, смысловые ошибки или неточности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Том II

Глава I. Восток под ружьём

Глава II. Подъём по Нилу

Глава III. Время учёных

Глава IV. Крушение и возвращение

ВЕЛИКИЙ ГРАБЁЖ

Исторический роман в 4 томах

ТОМ II – ЕГИПЕТСКАЯ КАМПАНИЯ (1798–1801)

ГЛАВА I. ВОСТОК ПОД РУЖЬЁМ

I – От Тулона до Мальты

Утром 19 мая 1798 года Клод-Луи Бертолле поднял на тулонской набережной обрывок просмоленного каната и поднёс его к носу. Вокруг него более трёхсот кораблей готовились сниматься с якоря в грохоте цепей и криках команд.

Канат пах скандинавской сосновой смолой, средиземноморской солью и чем-то ещё, чего он сразу не опознал. Растительная смола, быть может, хиосская мастика. Он убрал канат в карман, чтобы проанализировать его на борту. Набережная дрожала под ногами. Этот запах напоминал ему о *Bel Paese*.

В 1796 году Бонапарт послал его в Италию вместе с Гаспаром Монжем. Задача: определить в собраниях итальянских князей то, что заслуживало отправки в Лувр. Они объехали дворцы Милана, Болоньи, Рима, записывая названия и размеры. Затем картины путешествовали в ящиках, каждая в отдельной раме, завёрнутая в одеяла. Некоторые прибыли повреждёнными. Другие — нет.

Трудным он этого не находил. Это была прикладная наука: определить ценность предмета, обеспечить его сохранность, переместить. Та же логика, что и здесь, только с другими

предметами. Он знал это с самого начала. Эта экспедиция даст то же, что и в Италии, только в большем масштабе. То, что Бонапарт называл научной экспедицией, Бертолле в своих личных заметках называл операцией по приобретению. Это слово было точнее.

Разница заключалась в Египте. В Италии были коллекционеры, рынки, цены. В Египте были гробницы, запечатанные три тысячелетия назад.

На палубе «Ориента», флагманского корабля в сто двадцать орудий, Бонапарт наблюдал, как флот приходит в движение. Куда он направляется, люди не знали.

Монж чертил уравнения на обложке записной книжки, пока корабли маневрировали. Он не смотрел на набережную. Монж никогда не смотрел на то, что нельзя вычислить.

Ниже, в твиндеке С, Эдм-Франсуа Жомар натягивал бечёвку между двумя блоками, чтобы измерить длину коридора. Всего восемь месяцев назад он окончил Политехническую школу и впервые покидал Францию. Бечёвка показала три метра шестьдесят два. Узнав эту величину, он мысленно умножил её на число сосчитанных коридоров и вывел оценку длины корабля с точностью до двух метров.

Жан-Батист Фурье, тридцатилетний математик, профессор Политехнической школы, устроился в каюте верхней палубы со стопкой мемуаров об алгебраических уравнениях, которую так и не открыл за всё плавание. Решиться на отплытие его заставила не полевая наука — практики в ней у него не было никакой, — а перспектива измерить целую цивилизацию.

Доминик-Виван Денон долго созерцал пустой горизонт.

В тесной каюте он в третий раз с момента посадки на корабль раскладывал своё снаряжение. Сначала альбомы для набросков, рассортированные по формату. Угольные карандаши в кожаном футляре. Перья, чёрные и бистровые

чернила, кисти разной толщины в холщовом свёртке. Эту систему он знал наизусть — каждому инструменту своё место, каждому месту своя функция — как грамматик знает свой язык. Не для того, чтобы на нём говорить, а чтобы никогда его не утратить. Раскладывая всё заново, он чувствовал, что хоть что-то находится под его контролем. У Египта в его представлении по-прежнему не было формы. У его снаряжения она была. Он подумал: если всё остальное пойдёт кривь и вкось, у меня по крайней мере будут в порядке инструменты. Вероятно, в этом и состояло определение серьёзной работы. Начинать с того, что можно контролировать.

Бонапарт нанял его письмом в десять строк: *вы будете рисовать памятники*. Ему этого хватило. Он согласился, не спросив ни куда, ни когда, ни в каких условиях.

Флот несколько часов выходил из гавани. С берега плакали женщины, дети махали платками. Денон видел, как берег удаляется.

— Вам страшно? — спросил его Жомар.

— Нет. Мне не терпится. Это другое.

Пока корабли выходили в открытое море, он нарисовал в профиль лицо Бонапарта, освещённое утренним светом. Этот набросок спустя годы появится в первом издании его «Путешествия».

Плавание от Тулона до Египта длилось больше месяца, с остановкой на Мальте. Флот пересёк Средиземное море, сохраняя относительную тишину, избегая Нельсона столько же по везению, сколько по дисциплине. Первой остановкой стала не Александрия.

Первые дни море было спокойным. Учёные заполнили палубы, доставали приборы, производили замеры, записывали направление ветров. Жомар вычислял скорость флота, считая узлы. Натуралисты ловили сетью образцы.

Альбомы Денона заполнялись набросками. Надутые паруса, тёмные корпуса, меняющийся свет на воде. Море ему удавалось не так хорошо, как памятники, но он пробовал. Пробовали все.

Бонапарт же проводил дни за чтением. Он взял с собой тщательно подобранную походную библиотеку. Походы Александра, комментарии Цезаря, историю Полибия, рассказы арабских путешественников о Египте. Читал он быстро, загибая страницы, делая на полях пометки убористым почерком. Однажды утром Монж застал его за повторным перечитыванием рассказа Вольнея о путешествии в Сирию и Египет, опубликованного одиннадцатью годами раньше.

— Вольней пессимист, — сказал Бонапарт, не поднимая глаз. — Он увидел один лишь упадок. Мы увидим истоки.

Бонапарт закрыл книгу и положил её на колени. Монж заметил нечто характерное: Бонапарт читал не для того, чтобы ему возражали. Он читал, чтобы находить прецеденты тому, что уже решил сделать.

Библиотека «Ориента» сама по себе была целым учреждением. Бонапарт устроил её как маленькую плавучую академию. Вечерние чтения вслух, обсуждения взятых с собой книг, споры о древней истории Египта. Эти вечера собирали за столом в большой каюте главных учёных и офицеров, интересовавшихся словесностью. Читали Геродота, обсуждали Фукидиду, спорили о причинах падения Рима. Бонапарт председательствовал и часто вмешивался, обнаруживая подлинную историческую культуру, которая производила впечатление на профессоров Института.

— Меня занимает не то, почему гибнут цивилизации. А то, почему они длятся. Египет просуществовал три тысячи лет. Что делает государство столь устойчивым на протяжении трёх тысячелетий?

Фурье выдвинул гипотезу о регулярности разливов Нила и предсказуемости урожаев. Он любил исторические примеры, потому что они придавали абстрактным идеям вес длительности. Тысячелетия регулярных разливов: это было доказательство, которого одна математика дать не могла. Ещё до прибытия в Египет его интересовало именно это: цивилизация, решавшая сложные задачи — ирригацию, архитектуру, астрономию — без алгебры, которую он преподавал своим студентам. Решение опередило теорию. Это смущало и завораживало одновременно. Бертолле заговорил о концентрации власти в центральной администрации. Денон ответил, что не знает, но надеется найти элементы ответа в памятниках.

Бонапарт наклонился к Бертолле.

— В Италии мы вели переговоры с князьями. Здесь князей нет. Есть только гробницы и памятники, на которые никто не предъявляет прав. У того, что мы возьмём, давно нет живого владельца. Это существенная разница.

Бертолле ответил, что отсутствие живого владельца не означает отсутствия владельца. Но сказал он это вполголоса, а Бонапарт уже взялся за книгу. Бертолле ещё некоторое время смотрел на пламя лампы. Он знал — со времён Венеции, со времён Милана, — что слово верное и слово действенное не всегда совпадают. Бонапарт не спрашивал его мнения. Он просил лишь подтвердить уже сделанный вывод. Такова была цена экспедиции, и Бертолле принял её, поднимаясь на борт «Ориента».

На десятый день погода переменилась. Северо-западный ветер заставил флот изменить курс. Корабли слегка рассеялись, прежде чем вновь собраться под командованием адмирала Брюэса. Солдаты заболели. Несколько учёных тоже, в том числе Монж, который два дня пролежал на койке, бледный и молчаливый, с тазом под рукой, впервые за многие годы не в силах открыть книгу. Те, кто его знал,

понимали, что это молчание равносильно признанию. Больной Монж не жаловался. Он со смирением ждал, когда его тело соизволит вернуться к работе.

Денон продолжал рисовать с палубы, не подверженный морской болезни. Море было такого синего цвета, какого он никогда не видел в живописи. Синий — яростный, почти агрессивный, не имевший ничего общего с морскими пейзажами Клода Лоррена. Чтобы передать этот синий цвет, требовалась иная манера писать море. Никто ещё этого не сделал.

Вопрос о цели похода долго оставался без ответа.

Бонапарт раздал офицерам запечатанные предписания, которые надлежало вскрыть лишь в море. Солдаты строили догадки. Слышались самые разные названия: Англия, Португалия, Ирландия, Антильские острова, Мальта, Индия. Некоторые, самые осведомлённые, шептали «Египет», но это слово казалось таким далёким и невероятным, что немногие осмеливались в него верить. В тот день догадкам не было конца.

На следующий день Бонапарт дал понять высшим офицерам, какова цель похода. Египет. Африканский берег Средиземного моря. Нил, пирамиды, пустыни Сахары, руины Фив и Мемфиса. Слух быстро разошёлся среди учёных. Реакции различались в зависимости от темперамента каждого и от того, чего он боялся больше всего. Бертолле тотчас задумался о химических свойствах вод Нила и о качествах египетского натрона. Монж, всё ещё не оправившийся от морской болезни, ответил лишь, что надеется найти питьевую воду. Жомар ни о чём не спросил. Он заперся в каюте и два часа перечитывал свои заметки о древних оросительных системах. Он предпочитал понимать то, что ему предстояло увидеть.

Денон достал Геродота из мешка. Книга сама раскрылась на упоминании пирамид. У переплёта были свои привычки,

как у него самого. Он пробежал описание озера Мерида, лабиринта в Хаваре, пирамид Гизы, увиденных греческим путешественником за пять веков до нашей эры. Две тысячи триста лет отделяли Геродота от этого мгновения. Пирамиды же всё ещё стояли. Денон закрыл книгу, не отметив страницу. Место запомнит само.

Пройдя на безопасном расстоянии вдоль берегов Сицилии, эскадра взяла курс на юго-восток. Солнце вставало раньше и садилось позже. Жара усиливалась, предвещая широты, которые их ждали. Солдаты, никогда не покидавшие севера Франции, смотрели на горизонт с любопытством, смешанным с тревогой. Для многих это море уже было краем известного мира.

Ночь восемнадцатого дня была самой прекрасной за всё плавание. Не самой мягкой — воздух ещё хранил дневное тепло и пах смолой и солью, — но самой ясной. Безоблачное небо, луна в последней четверти, поднявшаяся недавно и освещавшая всё холодным и точным светом, словно кто-то поставил на горизонте фонарь. Белые паруса фрегатов блестели, как влажная бумага. Чёрные корпуса линейных кораблей отбрасывали на спокойную воду резкие тени. Волн почти не было слышно — лишь медленный скрип мачт, глухое хлопанье парусов, искавших ветер, — да откуда-то издалека доносилось нечто, что могло быть человеческим голосом или криком ночной птицы.

Бонапарт пришёл к Денону около полуночи. Эту привычку он приобрёл, поднявшись на борт. Ночные обходы палубы, в одиночестве или почти в одиночестве, пока офицеры спали. Он облокотился на фальшборт и долго молчал.

— Вы рисуете лучше ночью, чем днём.

— Ночь убирает ненужные детали. Остаются только существенные формы. Так честнее. Ничего нового. Всё уже было увидено. Но ничто ещё не было нарисовано точно. Геродот описывает пирамиды без измерений. Страбон

упоминает их, не понимая. Я хочу привезти изображения, про которые нельзя будет сказать, что они приблизительны. Бонапарт кивнул. Такой образ мыслей был ему понятен. Вдали, по левому борту, виднелась тёмная полоса, которая могла быть сицилийским берегом или низкой грядой облаков. Ни тот, ни другой не спросил вахтенного офицера, что это.

В ту же ночь, в нескольких днях пути к западу, эскадра Нельсона искала французский флот, не зная, где он находится. Два флота, одно море и тьма между ними. Если бы ветры дули иначе, всё, что Денон увезёт в своих блокнотах, пошло бы ко дну вместе с кораблями. Что уедет, а что нет, зависело бы не только от людей. Но и от ветров.

9 июня, после трёх недель плавания, французские корабли появились перед Валлеттой.

Остров Мальта, с 1530 года находившийся во владении Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, охранял вход в восточную часть Средиземного моря своими укреплениями, считавшимися неприступными.

Бонапарт созвал своих главных генералов и учёных перед крепостными стенами.

— Эти стены выдержали натиск сорока тысяч турок в 1565 году. Но рыцари, которые защищают их сегодня, старые, разобщены и без средств. Нам не нужно брать их приступом. Нам нужно лишь подождать.

Генерал Луи Дезе, офицер с аскетическим профилем, командовавший одной из дивизий армии, вмешался.

— Генерал Бонапарт, надёжны ли ваши сведения о внутреннем разделении Ордена?

— Мальтийские рыцари разделены на враждующие фракции. Великий магистр слаб. Они не станут сражаться. Скоро мы войдём.

Монж счёл нужным задать вопрос.

— Генерал, какое оправдание вы приведёте для нападения на Мальту, которая не воюет с Францией? Орден Святого Иоанна — суверенное учреждение, давно признанное на международном уровне. Не рискует ли это нападение вызвать негативную дипломатическую реакцию, в частности со стороны папы и католических держав Европы?

— Монж, дорогой друг, ты математик. Подсчитай, сколько мы сможем продержаться в Египте, если англичане перекроют наши пути. Мальта — это засов. А что до дипломатического оправдания, это не твоя забота. Мой адъютант этим займётся.

Монж замолчал. Он понял, где проходит граница.

Высадка произошла одновременно в нескольких пунктах острова и застала защитников врасплох. Сопротивление длилось три дня. Мальта капитулировала 12 июня.

Опись обнаружила ошеломляющие количества драгоценных металлов. Этого хватило бы на несколько месяцев кампании. Денон прошёл по большому залу сокровищницы, где комиссары описывали содержимое ящик за ящиком.

Богатство Ордена было прежде всего денежным: серебряные слитки, золотые монеты, церковная утварь из драгоценных металлов. От трёх до четырёх миллионов франков по оценке Бертолле.

Но то, что задержало его внимание, было в другом месте. В ризнице собора Святого Иоанна солдаты снимали со стен картины. Свод нефа — монументальный цикл Маттиа Прети о жизни святого Иоанна Крестителя, написанный прямо по камню между 1661 и 1666 годами — снять было невозможно: слишком велик, слишком неподвижен. Его оставили. Но станковые картины брали.

Он опознал несколько полотен Прети: *«Усекновение главы Крестителя»*, мрачное и жестокое, вырванное из своей капеллы; портреты великих магистров Ордена; большое *«Воскрешение Лазаря»* неаполитанской школы, которое скатывали в рулон без всяких предосторожностей.

Денон заметил и то, чего не брали. В молельне новициев, где с 1608 года находился запрестольный образ: *«Усекновение главы Иоанна Крестителя»*, самое большое полотно Караваджо, три метра шестьдесят на пять метров двадцать чёрной и красной бури. Палач склоняется над обезглавленным телом, чья кровь образует лужу. В этой крови художник начертил свою подпись: *f. Michelangelo*. Единственное полотно, которое он когда-либо подписал, и он решил подписать его в крови своей жертвы. Он сам убил человека. Живопись это знала.

Солдат подошёл, чтобы прикинуть, можно ли её снять. Денон положил руку ему на предплечье.

— Эта не уедет. Она написана для этой стены. Она погибла бы на корабле.

Солдат с минуту смотрел на Денона, потом на полотно, затем пожал плечами и пошёл искать в другом месте. Картина осталась.

Он записал в блокнот размеры, сюжет, подпись, затем остался перед полотном, ничего не записывая. У этой картины было редкое свойство. Она рассматривала зрителя в ответ. Не обезглавленный святой. А палач, склонившийся над мёртвым, или тюремщик, который поворачивает голову, словно спрашивали того, кто наблюдал сцену: а ты, что ты уносишь с собой?

Золотые и серебряные изделия из Госпиталя Ордена — столовые тазы, подсвечники, дароносицы — были изъяты целиком. В мальтийском госпитале были мраморные полы, гобелены, столовое серебро, которое считалось уникальным

в Европе. Оно пойдёт в переплавку на слитки. Больным, которые сюда поступят, придётся довольствоваться оловянными мисками.

Тот же процесс, подумал он. Каждое завоевание финансировало следующее.

«*Индийская серия*», *шпалеры*, сотканная на мануфактуре Гобеленов по картонам, вдохновлённым картинами, привезёнными из Бразилии принцем Иоганном -Морицем Нассау--Зигенским, с ещё яркими красками, изображавшая слонов, попугаев, тропические крепости, экзотические придворные сцены. Подарена Людовиком XIV. Король Франции отдал рыцарскому Ордену то, что армия Франции теперь собиралась забрать.

Он отметил размеры. Два метра пятьдесят в высоту, около пяти метров в ширину у самых больших. Шерсть и шёлк. Их можно было свернуть. Но их не свернули. У солдат не хватило времени или они не поняли их ценности.

— Оставьте шпалеры, — сказал Денон унтер-офицеру, руководившему описью. — Они принадлежат Франции ещё со времён Людовика XIV.

Снаружи грузили ящики на шлюпки. Золото, серебро, рукописи, отобранные картины. Библиотека Ордена, тысячи томов на латыни, по-французски, по-арабски, по-турецки, была оставлена. Не было места. Не было времени. Солдаты Революции грабили быстро. Учёные подбирали то, что оставалось.

В библиотеке насчитывалось около двадцати тысяч томов. Инкунабулы, средневековые рукописи, трактаты по навигации и картографии, накапливавшиеся с двенадцатого века. Солдаты не знали, что делать с книгами. Сержант спросил, стоит ли это чего-нибудь. Денон ответил, что да, некоторые стоят. Сержант заметил, что у него нет ящиков. Денон нашёл два и сам уложил в них самые древние

рукописи. Около сотни томов, выбранных по наитию, без каталога, без иного критерия, кроме кажущейся древности пергамента. Остальное — почти двадцать тысяч томов — было оставлено на полках.

Французский гарнизон, который останется на Мальте, будет в течение двух лет использовать их как упаковочную бумагу и топливо.

Бертолле записал в своих наблюдениях, глядя, как гружёные шлюпки удаляются к кораблям: «Фландрия была обобраhana методично, Италия — со знанием дела, Мальта — наспех. У каждой кампании был свой способ грабить, в зависимости от наличного времени и людей. Египет будет чем-то иным. Не город, который нужно опустошить за три дня, а страна, которую предстоит пересекать месяцами. Грабёж здесь будет медленным».

Флот поднял якорь вечером 19 июня. На палубе Денон смотрел, как удаляется Валлетта. Город светлого камня, крепостные стены, спускавшиеся к самому морю, барочные колокольни. На складах громоздились ящики с золотом и серебром. В его блокнотах — рисунки укреплений, собора, порта. То, что уносили, и то, что оставляли. Уже тогда он знал, что больше не увидит Мальту.

Золото можно было переплавить. Произведения искусства, однажды перемещённые, не возвращались никогда.

II – От Александрии до Нила

1 июля, после плаванья, во время которого французы несколько раз избегали Нельсона, вахтенные заметили низкие берега Египта. Запах горячего песка и соли. Монж был на палубе с самого рассвета.

— Александрия. Евклид, Эратосфен, Птолемей. Семьсот тысяч сожжённых томов. Посмотрите, что от неё осталось! — воскликнул Бонапарт.

Монж вгляделся в берег.

— По правде говоря, генерал, нынешний город, кажется, едва ли соответствует тем славным описаниям, что мы читаем в античных текстах. Он выглядит скорее ветхим и провинциальным. Где великолепные памятники, храмы, дворцы, великая библиотека?

Бонапарт улыбнулся.

— Всё это исчезло. Римляне, византийцы, арабы, османы. Древний Египет существует теперь только в своих камнях. Вот почему мы здесь.

Высадка началась после полудня при сильной зыби. Солдаты спускались в шлюпки, которые доставляли их к берегу, где они прыгали в мелкую воду и брели к пляжу под свинцовым солнцем. Запах пришёл раньше всего остального. Нечто тёплое и минеральное, рыбное и дымное, запах древнего города, который не ожидал, что его застанут врасплох.

Учёные высадились к исходу дня, когда город уже был взят. Александрия оказалась не такой, какой они знали её по книгам. Пятнадцать тысяч жителей, узкие улочки, дома из кирпичча-сырца, которые осыпались.

Денон впервые ступил на египетскую землю и огляделся с разочарованием, которого не стал скрывать.

— Неужели это всё? Руины и лачуги?

Колонна Помпея возвышалась в пятистах метрах, одинокая на фоне песчаного неба. Двадцать семь метров красного асуанского гранита на постаменте из тёсаного камня. К Помпею она не имела никакого отношения. Её воздвигли около 297 года нашей эры в честь императора Диоклетиана, после того как он подавил александрийский мятеж.

Ствол был монолитным, цельный блок в двести тонн, отполированный пятнадцать веков назад и всё ещё гладкий на ощупь под слоем пыли. Коринфская капитель наверху

потеряла несколько листьев аканта, но оставалась ясно различимой. Жомар обмерил колонну своими инструментами: диаметр у основания — два метра семьдесят один, наверху — один метр девяносто. Колонна слегка сужалась кверху. Мастера рассчитали оптическую иллюзию, благодаря которой ствол казался глазу стоящего внизу совершенно прямым. Пятнадцать веков спустя расчёт всё ещё действовал.

В постаменте были разрозненные блоки с фрагментами иероглифических надписей, использованные повторно в римской постройке, — вероятно, вырванные из более древнего фараоновского храма. Эта практика вторичного использования пронизывала всю историю Египта. Римляне грабили храмы ради своих построек, арабы грабили римские постройки, османы грабили арабские. Каждый слой служил каменоломней для следующего. Сама колонна Помпея стояла на камнях, которые уже послужили где-то в другом месте.

Денон зарисовал колонну с трёх разных точек. Анфас, в три четверти, в профиль с севера. Этому монументу в двести тонн суждено было служить ориентиром для кораблей, входящих в порт. Его рисунок попадёт в таблицы *«Описания»*. Колонна останется на месте. Её изображение отправится в Париж, в Лондон, в Вену.

Александрия разочаровывала. Слишком много веков, наслоившихся друг на друга. Но Нил раскрывался перед ними. Настоящие открытия были в другом месте.

Взятие города стоило французам около трёхсот убитых и раненых. Клебер, раненный в голову, выжил. Бонапарт разместил свою главную квартиру во дворце османского губернатора и созвал знать, чтобы объяснить ей в прокламации, переведённой на арабский, что французская армия пришла освободить Египет от мамелюкской тирании и восстановить права законного османского султана.

— Народы Египта, — провозглашал текст, — вам скажут, что я пришёл уничтожить вашу религию. Не верьте этому. Я пришёл вернуть вам ваши права и покарать узурпаторов. Мы — истинные мусульмане. Разве не мы покорили Папу и рыцарей Мальты?

Пока Бонапарт налаживал управление Александрией, учёные приступали к первым работам. Денон искал следы птолемеевского величия. Нашлось немного. Великая Александрия почти исчезла.

Денон провёл первую ночь без сна. Не от тревоги, а потому, что улицы продолжали шуметь ночной жизнью, какой он ещё никогда не слышал. Голоса на арабском, бродячие собаки, плеск фонтана в невидимом дворе, призывы к молитве, которые разносились с минаретов до рассвета. Он устроился у окна с блокнотом и рисовал то, чего не видел, а руку его вели уши. Линии выходили неуверенными. Он позволил им быть такими. Ночь тянулась долго.

На следующее утро он вышел с Жомаром в город. Тот нёс свой теодолит и делал замеры на каждом перекрёстке. Денон зарисовывал фасады, лица на базарах, верблюда, лежащего в пыли, стайку детей, которые смотрели на проходивших французских солдат с любопытством и недоверием. Ни тот, ни другой не говорил по-арабски. С жителями они объяснялись жестами, улыбками, деньгами.

— Египет, который нам предстоит изучать, — это не только Египет древний, — сказал Денон Жомару, рисуя деревянную резную дверь с геометрическим узором. — Здесь наслоились многие тысячи лет. Каждый слой покрывал предыдущий, не стирая его до конца.

— Что усложняет обмеры, — добавил Жомар. — Ваши наслоившиеся пласты ставят проблему метода. Если всё принадлежит всему, ничто нельзя датировать. Когда древний гранитный блок повторно используют в доме восемнадцатого века, к какой эпохе он относится?

— К обмен. В этом и проблема, и интерес.

Рыбный рынок открыл Этьену Жоффруа Сент-Илеру, молодому натуралисту, члену Комиссии по наукам, десяток средиземноморских видов, которых он нигде ещё не видел в виде образцов. Он купил несколько рыб, названий которых не знал, бережно уложил их в соль и велел отнести к себе на квартиру, чтобы вечером препарировать. Соседи по комнате жаловались на запах. Он ответил, что запах науки лучше невежества.

Бертолле, со своей стороны, заинтересовался красителями на рынке. Ткани, выставленные торговцами, поражали оттенками, которых он не узнавал. Очень глубокие индиго, красные, не имевшие тона марены, жёлтые с оттенком шафрана. Бертолле отобрал образцы окрашенных волокон, завернул их в бумагу, аккуратно снабдил этикетками.

Пока учёные исследовали александрийские рынки, каждый по своей специальности, Бонапарт не прогуливался.

Нужно было организовать гарнизон, наладить отношения с местными властями, решить вопросы снабжения, подготовить поход на Каир. Он принимал знать, сидя в кресле, которое велел доставить со своего корабля, в окружении адъютантов. Они предстали перед ним с осторожностью людей, которые по-прежнему не знают, останутся ли новоприбывшие.

Армия тем временем готовилась. Солдаты наполняли флаги, навьючивали мулов, проверяли боеприпасы. Были наняты египетские проводники. Люди, знавшие дорогу через пустыню и места водопоя. Они наблюдали за этими приготовлениями с фатализмом. Они повидали немало войск, прошедших по этому коридору между морем и пустыней.

Бонапарта не занимали гидрологические расчёты. Он смотрел на пустыню. С террасы дворца, где жили учёные, на

юге была видна чёткая линия, на которой город кончался и начинался песок. Прямая линия. С одной стороны дома, сады, пальмы, издавна упорядоченное человеческое присутствие. С другой — ничего. Однородная ширь до самого горизонта, без тени, без единого изменения цвета, без признака жизни.

Шестого июля Бонапарт отдал приказ выступать. Двести двадцать километров отделяли побережье от Каира. Между ними — пустыня. Никто не сказал этого учёным прямо.

Сорок градусов в тени уже с первого часа. Ни капли воды между колодцами. Солдаты умирали на ходу, сражённые не врагом, а солнцем. Умирали не сразу. Останавливались. Падали на колени. Больше не вставали. Колонны шли дальше. Никто не нарушил шага, чтобы остаться с упавшим.

Бонапарт шёл пешком, как его солдаты, параллельными колоннами через пустыню. Учёные, не приспособленные к такому, тянулись следом как могли. Некоторые теряли сознание. Денон рисовал пейзажи на ходу.

Монж шатался, опираясь на самодельный посох. Бонапарт, увидев его в таком состоянии, приказал дать ему воды из собственного запаса.

— Пей, Монж, — сказал Бонапарт, протягивая ему флягу. — Ты должен пережить этот поход.

Монж сделал несколько глотков тёплой воды с металлическим привкусом. Он чуть не сказал «спасибо» и удержался. Генерала не благодарили за глоток воды так, как благодарят друга. Монж вернул флягу, не сказав ни слова. Бонапарт уже смотрел в другую сторону.

— У всех великих предприятий свои испытания, — продолжил Бонапарт, положив руку ему на плечо. — Александр восемь лет шёл до Индии. Марко Поло двадцать четыре года не был в Венеции. А мы выдержим.

Колонны продвигались по местности, где почти ничего не росло. Несколько колючих кустов. Время от времени деревня из кирпичца-сырца. Феллахи, молча провожавшие армию взглядом от своих дверей. Жара была не похожа ни на что из знакомого солдатам. Она шла не только от солнца, но и от самой земли, словно вся пустыня была открытой печью. Фляги пустели. Их наполняли у колодцев, когда те попадались. Вода отдавала землёй и солью, но никто не жаловался.

На четвёртый день около полудня по колоннам пробежал гул. Солдаты подняли головы. Впереди, за дрожащей от жара чертой, на горизонте обозначалась зелёная полоса. Нил. Кое-кто бросился бежать. Офицеры их не удерживали. Они тоже побежали.

Когда первые ряды достигли берега, люди упали на колени в воду, даже не сняв ранцев. Они пили, умывали лица, стояли неподвижно в течении, словно отказываясь выходить. Позади них колонны продолжали прибывать, поднимая облака пыли, которые оседали на воду.

Денон расположился на берегу со своими угольными карандашами. Перед ним — широкая водная гладь, сверкающая под июльским солнцем, плодородная полоса в несколько километров насыщенной зелени, а затем пустыня, начинавшаяся ровно там, где кончалось орошение.

— Смотри, Жомар, — сказал Денон молодому инженеру-географу, подсевшему рядом отдохнуть, — вот наконец настоящий Египет.

— Меня поражает эта линия. С одной стороны пальмы, посевы. С другой — пустыня. В двух километрах от берега.

Жомар был прав. Всё зависело от Нила. В двух километрах от берега начиналась пустыня. Абсолютная, вплотную подступавшая к берегу. Египет был лишь водным коридором на материке из песка.

Питьевая вода теперь была в достатке. Армия набиралась сил. Жомар разворачивал свою градуированную линейку. Монж чертил уравнения на разрозненных листах. Денон открывал альбом для набросков. Инженеры изучали оросительные системы: сакии, шадуфы, распределительные каналы. Приёмы, которым тысячи лет и которые всё ещё в употреблении. Нильская вода, поднятая механическим способом, чтобы достичь полей, лежащих на несколько метров выше. Просто, действенно, неизменно со времён фараонов. Ботаники лихорадочно собирали: финиковые пальмы, сикоморы, лотосы, папирус, ароматические растения, неизвестные в Европе. Жоффруа набивал чучела птиц — ибисов, цапель — и наполнял ящики. Фауна Нила открывалась ему: крокодилы на берегах, ставшие редкими гиппопотамы, перелётные птицы тысячами.

— Посмотрите на этих ибисов, — бросил Жоффруа Бертолле. — Египтяне их мумифицировали. Они сделали из него бога Тота. Мудрость, письменность. Птица, которую видишь каждое утро на берегу Нила.

— Мой дорогой Жоффруа, поклоняться птице как богу мне кажется верхом суеврия. Просвещение это исправило.

Просвещение переросло многие из таких верований. Но Жоффруа понимал нечто такое, чего Бертолле видеть отказывался. Почитание ибиса, вероятно, было не чистым суеврием, а формой, какую принимало в данной цивилизации строгое наблюдение природы. Египтяне заметили, что ибис появляется с разливами Нила. Они сделали из него бога. Натуралисты восемнадцатого века замечали то же самое и превращали это в уравнения. Разница была в языке, а не во внимании к миру.

Жоффруа начал покупать с первого же месяца. Коллегам он об этом не говорил. У Фурье, Монжа, Бертолле не было ясной позиции по этому вопросу. Научный сбор или личное присвоение? Различие было размытым.

Несколько недель спустя, когда армия расположилась на квартирах в Каире, рынок в Саккаре работал с тех пор, как французские солдаты показали, что покупают. Феллахи из соседних деревень приносили всё, что находили на полях и в гробницах. *Ушебти* десятками, скарабеи сотнями, обрывки папирусов, амулеты, птолемеевские монеты, зелёные от патины. Денон приходил по утрам, пока жара не сделала ходьбу изнурительной. Он медленно шёл между наспех устроенными прилавками, тростниковыми циновками, брошенными на землю, с разложенными на них предметами. Присаживался на корточки. Взвешивал в руке. Смотрел. Его останавливало не всегда то, что было самым древним или самым эффектным. Деревянный *ушебти* с росписью, погребальная фигурка в пятнадцать сантиметров, руки скрещены на груди в позе Осириса, лицо неподвижное, жреческое, голубой парик с тонко прочерченными золотыми линиями. В лице была тихая точность придворных портретов. Кто-то смотрел на него, кто-то хотел, чтобы его узнали в ином мире. Этот *ушебти* сопровождал мертвеца тридцать веков в запечатанной погребальной камере. Теперь он лежал здесь, на тростниковой циновке, в Саккаре, под солнцем. *Ушебти* завернули в тряпицу, и Денон положил его в свою сумку.

Феллах произнёс фразу. Денон не понял. Он повернулся к Хасану, переводчику, которого ему назначила армия. Хасан выслушал, посмотрел себе под ноги, потом тихо перевёл.

— Он говорит, что это гробница его предка.

В тот вечер Хасан один вернулся на бивак. Он прошёл вдоль пустеющего рынка, торговцы растворились в вечерней пыли вместе со своими пиастрами. Он остановился там, где феллах разложил свои предметы. Циновка всё ещё лежала. Вмятина в песке отмечала место, где *ушебти* лежал. Переводчиком он был уже четыре года, переводил торговцев, нотариусов, османских офицеров, теперь

французских учёных. Он усвоил, что переводить — значит выбирать между словами, которые никогда не совпадают точно. Фразу феллаха — гробница его предка — он перевёл точно. Чего он не перевёл, так это тон.

В следующие дни Денон сделал и другие приобретения.

Скарабей. Один — из голубого фаянса, с картушем Тутмоса III, шестого фараона XVIII династии, выгравированным на плоской стороне с точностью, которую он проверил лупой: пашечный узор, скарабей, солнечный диск. Три тысячи двести лет, и линия была цела. Второй — из чёрного стеатита, изображавший жука с тонко проработанными надкрыльями. Египтяне наблюдали, как скарабей катит свой шарик навоза к солнцу, и увидели в этом бога Хепри, толкающего солнце на заре. Они клали скарабеев в гробницы, на сердца умерших, чтобы обеспечить возрождение.

Амулеты. Глаз уджат из бирюзового фаянса, глаз Гора, вырванный Сетом в битве, а затем восстановленный. Три сантиметра, нарисованный зрачок, косметические линии, имитировавшие оперение сокола. Фигурка Тота с головой ибиса, из ляпис-лазури, — её писцы носили, чтобы калам оставался точным. Сехмет из тёмно-красного сердолика. Её носили, чтобы война и эпидемии вас не коснулись.

Денон купил также две канопы из алебаstra — одна с крышкой в виде головы шакала, другая с крышкой в виде головы павиана, — хранительницы внутренностей умершего. Шестнадцать сантиметров в высоту, полупрозрачный алебастр пропускал свет медовым оттенком, словно камень всё ещё был живым. Обрывки папирусов, покрытые гьератическим письмом, приобретённые без понимания того, что в них сказано. То, что в них сказано, не изменило бы того, чем они были.

Что в них сказано, он по-прежнему не знал. Спустя годы востоковеды узнают: формулы *Книги мёртвых*, защитные

заклинания для перехода в иной мир. Сходный папирус, купленный в Фивах инженером Симонелем и позднее известный как папирус Кадэ, содержит формулу 125, суд над душой перед Осирисом.

Папирус Кадэ поступит в Кабинет рукописей Национальной библиотеки под шифром *Египетский 1–19*.

Но в то утро в Саккаре он ещё ничего этого не знал. Что его останавливало, то он покупал. Рынок пустел. Жара нарастала. Завтра будут другие циновки, другие предметы, другие сделки, фразы из которых он запишет не все. Египет был больше его блокнотов. Он знал это с первого дня. Он всё равно продолжит.

На рассвете у Жоффруа было двенадцать страниц заметок и одно убеждение. Нильский крокодил и южноамериканский кайман имели столь близкое костное строение, что оно не могло быть случайным. Это анатомическое сходство через десятки тысяч километров и океан ставило вопрос, на который биология его времени не имела ответа.

Жоффруа пока никому об этом не говорил. Идея слишком отличалась от того, чему учила наука его времени.

Жоффруа попросил Денона показать ему изображения животных на барельефах Саккары. Они провели полдня, сравнивая ибисов на росписях с живыми ибисами. Росписи и птицы походили друг на друга до совершенства. Три тысячи лет ничего не изменили. Денон нарисовал обоих рядом — живого и нарисованного мёртвого, — не зная, который больше похож на оригинал.

III – Битва у пирамид

Двадцать первого июля армия увидела пирамиды.

Треугольные силуэты вырисовывались на горизонте уже километров за десять. Солдаты остановились сами. Никто не отдавал приказа. Бонапарт верхом посмотрел на них, не говоря ни слова.

Потом повернулся к своим людям:

— Солдаты, с высоты этих пирамид на вас смотрят сорок веков.

Он, не понижая голоса, подал знак своим генералам:

— Бон, левая дивизия. Дезе, правая дивизия. Не двигаться. Пусть подходят.

Затем, только для себя, в последний раз лицом к пирамидам:

— Если уж так, пусть это будет победа.

Учёных отправили внутрь пехотных каре вместе с обозом и ранеными. Они оказались стиснуты между мулами и зарядными ящиками, на уровне плеч солдат последних рядов. Монж почти ничего не видел.

Оттуда, где он стоял, было видно лишь то, что происходило на уровне человеческого роста: сдвигающиеся ноги, ружья, которые держали обеими руками, пот на затылках. Пыль, поднимавшаяся с востока. Мамелюкская конница, ещё невидимая, приближалась. Солдат слева от него бормотал по-эльзасски. Монж не понимал. Тона хватало. Он спросил себя, впервые со времён Тулона, стоит ли ради этой экспедиции быть зажатым между мулами и ящиками, пока конница мчит в атаку сквозь пыль.

Гул пришёл раньше стука копыт. Что-то в воздухе, дрожь в земле под ногами. Потом первые ряды дали залп, и чёрный дым скрыл всё. Залпы следовали друг за другом в ровном ритме. В промежутках слышались крики. Крики тех, кто падал с лошадей.

То, чего Монж не мог видеть изнутри каре, видели офицеры верхом. Мурад-бей расположил свои силы на востоке, между

французами и Нилом. Шесть тысяч мамелюкских всадников, возможно семь тысяч, собранных в зыбкие построения, менявшие форму и никогда не застывавшие. Ни линий. Ни неподвижных рядов. Конница, растекавшаяся, как вода по неровной поверхности. Арабские кони, мельче французских, скакали группами по пятьдесят, по сто, меняя направление по сигналу предводителя, которого не было видно. За ними поднималась охристая пыль, пока не закрыла небо.

Бонапарт построил свои дивизии в пять больших каре. Двадцать пять тысяч человек, расположенных в шесть рядов в глубину, со птыками наружу, офицеры внутри вместе с обозом. Это было теоретическое построение, которому учили в Военной школе и которое никогда не должно было уступить кавалерийской атаке. В теории. Никто в армии нигде не видел, чтобы шесть тысяч всадников атаковали одновременно.

Первая атака пришла с юго-востока. Около тысячи всадников, отделившихся от основной массы мамелюкской армии, ринулись прямо на каре Дезе. Мамелюки носили кривые сабли, пистолеты за поясом, карабины через плечо. Иные были в кольчугах, блестящих на солнце. Другие в расшитых шелковых халатах. Это не была армия. Это была воинская аристократия верхом, каждый всадник сражался за собственную славу, без общего порядка.

Они мчались во весь опор триста метров. Каре Дезе ждало. Двести пятьдесят метров. Офицеры кричали держать ряды. Двести метров. Ружья поднялись. Сто пятьдесят метров. Бонапарт со своей центральной позиции смотрел, не двигаясь. Сто метров. Расстояние, на котором пехотинец мог различить лицо атакующего всадника. Семьдесят пять метров. Приказ стрелять.

Первый залп поразил атаку в лоб. Пули били сначала по лошадям, более крупным, чем люди, затем по всадникам,

которые падали вперёд или набок. На пятидесяти метрах атака замедлилась. Не резкая остановка. Крошение. Лошади отказывались идти на птыки. Несколько одиночных всадников добрались до каре. Они били саблями по скрещённым ружьям, но не могли пробить шесть рядов в глубину. Второй залп сразил их в упор.

Уцелевшие отступили. Но последовали другие атаки. Мурад-бей бросал эскадроны последовательными волнами, надеясь найти слабое место во французских построениях. Каждая волна разбивалась о ружья. Через час каре всё ещё стояли. Земля перед французскими позициями была усеяна мёртвыми лошадьми и ранеными всадниками. Пороховой дым стоял в неподвижном воздухе, образуя серый туман, скрывавший пирамиды на заднем плане.

Денон продолжал рисовать вслепую. Спины, ружья, дым, уголок пирамиды над головами. Изнутри каре он видел лишь обрывки: затылок эльзасского солдата перед собой, ружья, которые поднимались и опускались, едкий дым, скрывавший всё. То, что происходило снаружи — атаки, залпы, разбивавшие мамелюкские эскадроны, контратака французской кавалерии, — он не увидит. Он сохранит лишь дым, жару, пот и шум.

Ближе к вечеру Бонапарт бросил дивизии Бона и Виаля на штурм укреплённого лагеря Имбаба на берегу Нила. Пехотные колонны двинулись в птыки. Это не было преследованием. Это был расчётливый таранный удар, чтобы сломить сплочённость противника. Мамелюки, зажатые между колоннами и рекой, отступили. Некоторые утонули, пытаясь переправиться через реку верхом. Других перестреляли на берегах преследовавшие их французские пехотинцы.

Мурад-бей понял, что битва проиграна. Его всадники, великолепные поодиночке, ничего не могли поделать с дисциплинированной пехотой, твёрдо державшей позиции.

Он отдал приказ об общем отступлении. Не прошло и двух часов с начала боя, как уцелевшие мамелюки уже скакали на юг, оставляя поле битвы французам. Позади них оставались несколько тысяч убитых. Французские потери составили менее трёхсот убитых и раненых.

Денон нарисовал пирамиды, поместив на первый план мёртвых. Именно этот набросок, а не триумфальные полотна, заказанные позднее, говорил правду об этом дне.

Армия вновь двинулась в путь. И тогда пирамиды вернулись. Не такими, какими явились утром, — далёкими силуэтами в пыли, — а вещами иной природы. По мере приближения они росли так, что это не имело ничего общего с обычной перспективой. Дело было не в том, что они становились больше. Просто они переставали быть сопоставимыми с чем бы то ни было известным. В двухстах метрах Денон понял, что всю жизнь воображал себе монументы человеческого масштаба. Эти пирамиды были возведены в масштабе идеи, которую строители имели о том, что должно пережить века. Они были огромны, бесстыдны в своих размерах. Ни одно европейское здание не шло с ними в сравнение.

Жомар, юный выпускник Политехнической школы, достал измерительные инструменты и приступил к съёмке. Цифры, которые он записал в тот вечер — длина основания, угол наклона граней, предполагаемая высота, — составили первую точную научную съёмку пирамид Гизы. Эта кропотливая и тщательная работа, выполненная в самый вечер победы, подытоживала двойственность всей экспедиции.

Денон разглядывал пирамиды, а затем армию, стоявшую лагерем у их подножия. Эти монументы весили миллионы тонн. Они никуда не денутся. Но предметы, которые они хранили, были совсем другим делом. Статуэтки

погребальных камер. Папирусы. Фаянсовые скарабеи. Всё, что рука могла поднять и положить в походный ящик.

Ночь быстро опустилась на плато Гизы. Солдаты разожгли бивачные костры. Оранжевый свет пламени придавал камням цвет, какого он ещё не видел ни на одной картине. Денон стоял ещё долго после того, как Жомар улёгся на своё одеяло и устремил открытые глаза в небо.

После полуночи он взял свои угольные карандаши и подошёл к Великой пирамиде. Часовые его не остановили. Их предупредили, что этот штатский с блокнотом ходит где вздумается и хлопот не доставляет. Он двинулся вдоль основания и нашёл угол, где луна прямо освещала западную грань. Блоки были выше человеческого роста. Взобравшись на два-три блока, он сел на четвёртый.

Камень был ещё тёплым. Не рассеянное тепло воздуха. Собственное, внутреннее тепло, словно известняковая масса впитала дневное солнце и медленно отдавала его ночи. Ладонь лежала плашмя. Сто сорок шесть метров камня над ним, невидимых в темноте. Он видел лишь нижние ряды блоков, уходившие вверх, во мрак.

Денон попытался рисовать. Луна давала достаточно света, чтобы различить швы между рядами, лёгкую неровность поверхностей, обработанных вручную, глубокую тень щелей. Линия горизонта, проведённая там, где пирамида рассекала небо, последовательные ряды блоков, поднимавшиеся уступами. Это было проще дневного рисунка.

Жомар нашёл его там около часу ночи. Он сел рядом, не говоря ни слова, рассмотрел набросок в блокноте, потом пирамиду, потом снова блокнот.

— Мы только что выиграли сражение, о поражении в котором никто не вспомнит. Через тысячу лет кто будет знать, что Мурад-бей бежал на юг совсем недавно? Через

тысячу лет эта пирамида увидит сто таких сражений, как наше. Она не станет их считать. Камень не ведёт счёта победам людей.

— Это запишут наши блокноты, — добавил Жомар. — Между знанием и записью есть разница. Но наши блокноты засвидетельствуют это, если кто-нибудь их прочтёт.

— Наши блокноты. Вот что остаётся от побед. Блокноты и пирамиды.

Жомар задумался. Вершина сооружения притягивала его взгляд.

— Сегодня вечером я подсчитал, что Великая пирамида содержит около двух миллионов трёхсот тысяч блоков. Если бы рабочие трудились по десять часов в день, триста шестьдесят пять дней в году в течение двадцати лет, то им пришлось бы укладывать по блоку примерно каждые две минуты, без перерыва. Ни передышки. Ни ошибки. Два миллиона раз. Меня смущает другое: расчёт сходится. Нигде нет запаса, который бы обрушился. Они сделали ровно то, что собирались сделать.

Вдали на равнине мерцали бивачные костры солдат. Где-то на севере спал Каир. Пирамида же не спала.

Денон в последний раз посмотрел на набросок. Линия пирамиды на фоне ночного неба, простая, абсолютная. Никогда ещё он не рисовал ничего, что так трудно было бы испортить. Форма была столь чиста, что промахнуться было невозможно.

Жомар встал, отряхнул пыль с брюк и поднялся обратно к лагерю.

На следующее утро Денон спустился в Великую пирамиду вместе с Монжем и архитектором Бальзаком. Они вошли по ходу, пробитому в IX веке халифом аль-Мамуном. Туннель в кладке, такой узкий, что приходилось идти согнувшись

пополам, с чадящими факелами в руках. Вчерашний жар покинул плато. Камень был холодным.

В восходящем коридоре они встретили солдата, спускавшегося навстречу. Молодой, лет восемнадцати, с факелом в левой руке и сжатой правой. Он прижался к стене, чтобы дать им пройти. Денон заметил, что держала правая рука. Скарабей из голубого фаянса, величиной с грецкий орех, найденный в боковой нише. Солдат посмотрел на него. Денон тоже. Ни один не сказал ни слова. Сказать было нечего. Скарабей солдата и статуэтки в собственном багаже Денона подчинялись одной и той же логике. Разница была в степени, а не в природе. Денон знал это со времён Саккары. Великая галерея остановила их на месте. Сорок семь метров в длину, восемь с половиной метров в высоту, стены из полированного известняка поднимались ступенчатым напуском к своду. Коридор продолжался под углом двадцать шесть градусов к Царской камере. Факел поднят. Свет не доходил до вершины. Видимой вершины не было. Только две стены, сходящиеся во тьме.

— Римляне строили своды, — сказал Монж, глядя на стены.
— Египтяне строили ложные перекрытия. Результат один и тот же. Покрытое пространство. Техническое решение иное. Они решили одну и ту же задачу, не зная друг друга.

— Да, с разницей в века, — ответил Бальзак. — Этот коридор на две тысячи семьсот лет старше римского Пантеона.

Монж шёл вперёд, считая шаги. Он захватил с собой размеченную верёвку, которую разматывал за собой, записывая точную длину при каждой перемене направления. Бальзак держал пузырьковый уровень.

В Царской камере они сделали остановку. Пустой саркофаг занимал западный угол. Монолитный чан без крышки, без надписи, без украшений. Кто-то в неопределённую эпоху

отбил северный край. Грабители не оставили ничего другого.

Денон измерил помещение по трём измерениям. Длина: десять метров тридцать сантиметров. Ширина: пять метров двадцать. Высота: пять метров восемьдесят. Записав цифры, он проверил их и записал ещё раз. Затем вычислил отношение длины к ширине. Близкое к двум к одному. Близкое к двойному квадрату.

— Смотрите. Это отношение не случайно. У египтян была геометрия пропорций, которую мы открываем заново. Они её не записали. Они её построили.

Сидя на краю пустого саркофага, Монж зарисовывал помещение при свете факела. Этот саркофаг что-то содержал. Или, быть может, ничего. Быть может, он всегда был пуст. Вероятно, гробницей была сама камера, а не каменный ларь. Никто не знал. Ни один иероглиф не украшал стен, чтобы сказать об этом. А будь они там, их всё равно не сумели бы прочесть.

Они вышли на поверхность через два часа. Утреннее солнце било по плато Гизы. Монж сел на известняковый блок и на мгновение закрыл глаза. Он думал о комнате внизу. О её абсолютной тишине, её совершенной темноте, о пустом саркофаге, веками ждавшем там, чтобы кто-нибудь пришёл и возложил на него руки.

Денон открыл блокнот и написал. «В пирамиду входят, как входят во фразу, у которой не понимаешь ни начала, ни конца. Смысл здесь, упорядоченный, точный. Но нам не хватает языка».

После полудня, пока Жомар заканчивал съёмку восточной грани, Денон отошёл в южную часть плато. Увидеть Сфинкса издали, прежде чем приблизиться к нему, — таково было его желание. Он остановился в трёхстах метрах и стал смотреть.

Голова поднималась из песка на горизонте, вырезанная на небе, белом от жары. Пропорция тревожила. Слишком велика для человека, слишком мала для монумента, нечто среднее, не соответствовавшее ни одной известной ему категории. Силуэт был прочерчен точно. Четыре линии. Облом изуродованного носа. Край немеса. Полосатый головной убор, обрамлявший лицо. Тень, лежавшая на песке.

По мере приближения добавлялись детали. Бледно-жёлтый известняк, изъеденный тысячами ветра, нагруженного песком. В породе были видны геологические пласты. Сфинкса вытесали из природной скалы. Рабочие следовали слоям камня, как скульптор следует волокну дерева. Наполовину стёртые уши ещё сохраняли свою форму. Глаза теперь были впадинами, но рельефные брови указывали, что их пришлось выдалбливать намеренно.

Денон сел на песок у подножия головы, в узкой тени, которую она отбрасывала к концу дня. Это было единственное прохладное место на плато в этот час. Лицо, нарисованное снизу, под углом, которого ещё не изображали ни один живописец, — под углом того, кто сидит у подножия монумента и поднимает глаза.

Солдат из охранного отряда пришёл сказать ему, что пора возвращаться в лагерь. Денон жестом показал, что слышит, и не шелохнулся. Солдат удалился. Света оставалось минут на двадцать.

Он думал о том, что Сфинкс стерёг. Или должен был стеречь. Древние египтяне называли его Хор-эм-ахет, Гор в горизонте. Бог-сокол, бывший также восходящим солнцем. Это лицо смотрело на восток, точно на восток, на солнце в час его восхода. Не случайно. По астрономическому расчёту, выполненному с точностью, которую инструменты Жомара лишь подтвердят.

Здесь всё было намеренным. Ничто не было украшением ради простого удовольствия украшать. Каждая пропорция, каждая ориентация, каждый выбранный материал отвечали логике, которую строители носили в голове и которую не сочли нужным объяснять, потому что их преемники знали её тоже. Затем преемники исчезли, а с ними и логика, и остался один камень. Совершенный, точный и немой.

Когда света стало недостаточно, он встал и ещё раз взглянул на лицо. Отсутствующий нос не умалял выражения. Если только это было выражение. Это, пожалуй, была не безмятежность. Быть может, просто то, как смотрит на мир лицо, высеченное в скале.

Взятие Каира 24 июля оказалось поразительно быстрым. Ворота города открылись без серьёзного боя: местные власти предпочли вести переговоры, нежели сражаться с армией, огневую мощь которой только что увидели. Бонапарт вступил в столицу Египта во главе своих войск, проезжая по улочкам, где население осторожно оставалось в домах.

Восхищение солдат Каиром было всеобщим. После недель пустыни они открывали для себя город в триста тысяч жителей. Его кипящие людьми базары, бесчисленные мечети, сады из пальм и апельсиновых деревьев, фонтаны. Для большинства из них это был самый большой и самый странный город из всех, что они когда-либо видели.

Денон обошёл квартал Хан эль-Халили в самый вечер вступления. Рисуя на ходу, делая заметки мимоходом. Город казался ему цельным и связным миром, устроенным по логике, ключей к которой у него всё ещё не было. Потребуются месяцы, чтобы начать понимать.

Хан эль-Халили был торговым сердцем Каира с XIV века. Лабиринт крытых улочек, где теснились ювелиры, ткачи,

торговцы пряностями, книготорговцы, мастера по меди и латуни. Он бродил там уже час с раскрытым блокнотом, не в силах закрепить свои рисунки, потому что движение не прекращалось ни на миг. Лица, ткани, товары. Всё сменялось слишком быстро.

Старый торговец арабской каллиграфией заметил его и жестом пригласил войти в лавку. Денон согласился. Мужчина разложил перед ним листы, покрытые знаками, которых он не мог прочесть, но эстетическую ценность которых сразу распознал. Изогнутые линии, диакритические точки, расставленные с точностью, в которой было столько же от рисунка, сколько от письма. Он купил три листа за скромную сумму. Торговец подарил ему четвёртый в знак приветствия.

Этот жест поразил его. После перестрелок в Александрии, после ощутимой настороженности улиц кто-то что-то ему дарил. Это не было симпатией к Франции. Это было нечто более древнее. Гостеприимство, каким оно существовало в этой стране тысячелетиями, до французов, до османов, даже до арабов.

Жомар, более практичный, сразу заинтересовался размерами города. Триста тысяч жителей — это почти половина населения Парижа. Но население было распределено на гораздо меньшей площади, в узких улочках, где в ряд могли пройти лишь два осла. Плотность была ещё одним способом измерять цивилизацию. Он записал ширину улиц, приблизительную высоту фасадов, соотношение между застроенными площадями и внутренними дворами. Эти данные пригодятся ему позднее для демографических оценок.

Бонапарт же увидел в Каире административную проблему. Триста тысяч жителей, которыми надо было управлять с помощью армии из двадцати пяти тысяч измученных солдат. Соотношение было неблагоприятным. Нужны были

местные союзники, управление через посредников, заимствованная законность. Он начал работать в тот же вечер, когда вошёл в город, пока его солдаты валялись с ног от усталости.

Монж и Бертолле встретились во дворе заброшенного дворца и пили египетский кофе, поданный слугой, которого интендантство наняло только этим утром.

— Вот мы и здесь, — сказал Монж, поднимая чашку. — Мы пересекли Средиземное море, взяли Мальту, прошли пустыню, выиграли битву у пирамид, и вот мы в Каире. Шесть недель плавания, одна битва, и мы сидим в мамелюкском дворце и пьём кофе.

— Остаётся главное, — уточнил Бертолле.

— Что же?

— Понять, что перед нами. Эту страну. Эту цивилизацию. Военное завоевание было лёгкой частью.

На соседних улицах армия устраивалась на ночь. Выкрики приказов, лошади, глухой стук сгружаемых ящиков. Каир по-прежнему не спал. Быть может, он вообще никогда по-настоящему не спал. Монж поставил чашку и оглядел двор. Пальма, каменный бассейн, звёзды над стенами. Пятьдесят два года он верил, что наука открывает мир. Она и вправду открывала его. Что это открытие может внушать такой страх, он не предвидел.

IV – Битва при Абукире

1 августа Нельсон атаковал французские корабли в бухте Абукир. Бой длился всю ночь. К утру одиннадцать из тринадцати линейных кораблей были потоплены или захвачены. «Ориент», флагманский корабль, взорвался.

Французский флот стоял на якоре в мелководной бухте Абукир с первых дней июля, ожидая приказов адмирала

Брюэса. Тринадцать кораблей, вставших борт к борту, правыми бортами к морю, левыми к берегу. Это было классическое расположение флота на стоянке, защищающее один фланг прикрытием берега. Брюэс выбрал эту позицию, потому что порт Александрии был слишком мелок. Он полагал, что Нельсон сможет атаковать только с фронта.

Но Нельсон понял слабость такого расположения. Если бухта достаточно глубока для тринадцати кораблей, то её хватит и для прохода между этими кораблями и берегом. Французы защитились от открытого моря. Они оставили левый борт неприкрытым, полагая, что никто не посмеет сунуться на мелководье. Нельсон посмел.

Атака началась в восемнадцать тридцать, когда солнце опускалось к горизонту. Четырнадцать британских кораблей вошли на рейд. Пять из них, с наименьшей осадкой, прошли между французской линией и берегом. Остальные атаковали со стороны моря. Французы оказались зажаты между двух огней, их орудия левого борта были бесполезны, ведь сражаться на этом борту они не рассчитывали.

Сражение развернулось в сгущавшейся темноте. Первые французские корабли линии, застигнутые врасплох, были сокрушены прежде, чем успели вернуть экипажи, рассеянные по берегу. «Герье», «Конкеран», «Спартиат» были расстреляны в упор британскими орудиями. К двадцати часам настала глухая ночь. Дрались лишь при свете орудийных выстрелов, пламени, поднимавшегося с повреждённых палуб, и луны, всходившей над Средиземным морем.

«Ориент», флагманский корабль на сто двадцать орудий, находился в центре французской линии. Это был самый большой корабль в мире, построенный в Тулоне в 1791 году. Брюэс командовал им, раненый, но отказываясь покинуть свой пост. В двадцать один час на юте, где валялись горшки

с краской и маслом, вспыхнул пожар и перекинулся на нижние палубы. Огонь распространился до крюйт-камер. Матросы пытались его потушить, но помпы были разбиты прежними выстрелами.

В двадцать два часа «Ориент» взорвался. Взрыв был виден из Александрии, за тридцать километров. Столб пламени поднялся на сто метров в ночное небо. Грохот взрыва прокатился по всему побережью. На десять минут бой прекратился. И британцы, и французы перестали стрелять, оцепенев от мощи разрушения. Горящие обломки падали обратно в море. Тела матросов взлетали в воздух и падали в воду в сотнях метров от корабля. От «Ориента» не осталось ничего. Из тысячи человек экипажа подобрали лишь горстку выживших.

После затишья бой возобновился. Уцелевшие французские корабли пытались защищаться, но они были окружены, экипажи их поределели. На рассвете 2 августа одиннадцать французских кораблей были уничтожены или захвачены. Лишь двум удалось уйти в открытое море: «Гийом Телль» и «Женере». Им предстояло уйти к Мальте. Остальные были потоплены, выброшены на берег или находились в руках британцев.

Битва при Абукире стала величайшей морской победой Нельсона. Французские потери составили несколько тысяч человек убитыми, ранеными или пленными. Британцы не потеряли ни одного корабля. Средиземное море снова становилось их морем.

Эта ночь меняла всё. Без флота французская армия оказалась пленницей Египта. Ни подкреплений, ни снабжения, ни возвращения. Тридцать восемь тысяч солдат и сто шестьдесят семь учёных, отрезанные от мира.

Весть дошла до Бонапарта 14 августа, на дороге в Каир, при возвращении из Салихии. По прибытии в столицу он созвал военный совет. Его гнев был очевиден.

— Брюэс поставил флот на якорь в бухте Абукир вместо того, чтобы укрыть его в Александрии. Нельсон атаковал ночью. Флот уничтожен. Вот наше положение.

Клебер — прибывший из Александрии по этому случаю, сорока пяти лет, эльзасец, великан почти двух метров ростом, прямо́та — как профессиональный недостаток, — задал вопрос, вертевшийся на языке у всех.

— Генерал Бонапарт, какова долгосрочная стратегия? До каких пор мы останемся здесь?

Бонапарт колебался. Решение ещё не было принято.

— Мы контролируем Нил, Клебер. Египет может прокормить нашу армию. Мальта дала нам возможность продержаться. Мы не зависим от Директории. Продолжим. Восточная армия отрезана от Франции. Отныне мы обязаны совершать великие дела. Если мы не можем вернуться морем, мы вернёмся сушей, пройдя через Сирию и Турцию, или оставшись здесь, пока не изменятся обстоятельства.

— Мы пленники здесь на неопределённый срок, — сказал Монж.

Бертолле, более стойкий и более смирившийся, чем Монж, попытался отнестись к положению спокойнее, поместив его в более широкую историческую перспективу.

— Александр провёл одиннадцать лет вне Македонии, Монж. Наша работа здесь переживёт нас. Держитесь за это.

Клебер после совета нашёл Денона в коридоре дворца и остановил, придерживав его за руку. Эльзасец был единственным генералом армии, который не притворялся перед штатскими. И единственным, кто не спрашивал позволения задать неприятный вопрос.

— Вы слышали Бонапарта. Он отдал приказ продолжать. А вы что об этом думаете?

— Я думаю, что у него нет выбора. И что он это знает.

— А у нас?

— У нас тоже.

Клебер кивнул. Это не было пессимизмом. Он отпустил его и направился к своим офицерам.

В подобной катастрофе было нечто поучительное. Не моральный урок, а урок о случайности. Великие предприятия не всегда рушились по великим причинам. Порой они рушились потому, что адмирал встал на якорь не в том месте.

Известие об уничтожении флота дошло до учёных поразному, в зависимости от их места в иерархии лагеря. Одни узнали о нём от штабного офицера, пересекавшего двор. Другие — от египетского слуги, слышавшего разговоры солдат.

В тот вечер, прежде чем вернуться на квартиру, Денон зашёл в северные пристройки дворца Хасан-Кашифа, где хранились коллекции. С фонарём и рукописной описью в руках.

Ящики были на месте: двенадцать коробок с этикетками, надписанными его рукой, официальные коллекции Монжа и Бертолле. В северо-западном углу, у задней стены, стояли двадцать три ящика без этикеток. Ни серийного номера. Ни имени комиссара. Обычное дерево, наспех заколоченное вкось вбитыми гвоздями. Он попытался приподнять один из них. Слишком тяжёл для одного человека. Пальцы прошли в щель между досками. Холст. Что-то твёрдое под ним. Вскрывать он не стал. Он видел их трижды с самого начала экспедиции. Первый раз в Александрии, не обратив внимания. Они стояли там среди других ящиков. Второй раз после битвы при Абукире, когда он приходил с фонарём проверить коллекции. Третий раз этим утром. Они не сдвинулись с места, и никто не заявил на них права. Они существовали вне системы. Вне бланков, ордеров,

инвентарных книг. Они были той частью экспедиции, у которой не было имени.

Он записал существование этих двадцати трёх ящиков в личный дневник, внизу страницы, с датой и пометкой: «Происхождение неизвестно. Содержимое не проверено». Он никому об этом не сказал. Эти ящики кому-нибудь да принадлежат. Кто-нибудь потребует их назад или не потребует.

На следующий день после полудня Денон отправился на рынок пряностей Хан эль-Халили, чтобы узнать, известна ли новость в городе. Она не просочилась. Или просочилась, не произведя видимого действия. Торговцы торговали. Покупатели покупали. Цены на перец и корицу не изменились по сравнению с прошлой неделей.

Торговец тканями, которого он знал в лицо, подал ему знак подойти. Мужчина произнёс несколько слов по-арабски, указывая на небо, потом на море на севере, потом сомкнул ладони и резко развёл их — всеобщий знак взрыва.

— Они знают, — сказал Денон своему переводчику.

— Они знают со вчерашнего вечера. Новости быстро разносятся по базарам. Говорят, что французский флот уничтожен и что вы теперь здесь пленники.

— И что они об этом думают?

Переводчик обменялся несколькими фразами с торговцем. Потом повернулся к нему.

— Он говорит, что французы не первые, кто попал в ловушку в Египте, что мамелюки тоже думали, что останутся, что Нил будет течь и тогда, когда вы уйдёте, а ещё что, если вы хотите купить ткань, он предлагает выгодную сделку на сегодня.

Денон купил кусок индиговой ткани. Не ради какой-то пользы, а потому что цвет был красив и потому что ему хотелось сделать за этот день хоть что-то конкретное.

Больше всего занимала его в последующие часы мысль вполне конкретная: как тетради Жомара, его собственные рисунки, коллекции Жоффруа вернутся во Францию? Наука плыла на тех же кораблях, что и война.

В тот вечер, после военного совета, учёные собрались во внутреннем дворе дворца. Никто не предлагал им там встречаться. Они приходили один за другим, влекомые одной и той же потребностью не оставаться наедине с новостью.

Бертолле пришёл несколькими минутами позже, с листом расчётов в руке. Сидя, положив лист на колени, он без предисловий сказал Монжу:

— Я оценил имеющиеся припасы. Мука, масло, рис, вяленое мясо. При правильном нормировании армия продержится шестнадцать месяцев без внешнего снабжения. Мы не умрём с голоду.

— Меня беспокоит не голод, — сказал Монж.

— Я знаю. Но это то, что я могу сосчитать.

Фурье сидел в стороне, под портиком. Он не проронил ни слова. Остальные научились не принимать это молчание за безразличие. Фурье думал иначе, чем они. Ему нужна была математика, чтобы справиться с тем, что слова вместить не могли. Потеря флота была задачей со многими переменными: припасы, подкрепления, возможные пути отступления. Записать уравнения, которые связали бы их, у него не получалось. Это не было холодностью. Это был его способ бояться.

— Наши коллекции. Как они вернутся?

Никто не ответил сразу. Это был вопрос, который задавали себе все и который никто не хотел сформулировать первым.

— Тетради поместятся в наши карманы, — добавил Жомар.

— Измерения, заметки, наброски. То, что умещается в

несколько килограммов на человека, может пройти через что угодно.

— А ящики? — сказал Денон. — Образцы Жоффруа. Мумии Бертолле. Керамика, папирусы, статуэтки. То, что тяжело.

Бертолле отложил лист с расчётами.

— То, что тяжело, уязвимо. Это надо признать. Если англичане овладеют восточной частью Средиземного моря, всё, что мы захотим погрузить на корабль, может быть захвачено.

Кошка пересекла плиточный пол и исчезла под портиком. Где-то в городе муэдзин начал ночной призыв. Протяжный, извилистый голос, который то поднимался, то опускался в мелодии, слышанной им каждую ночь с 1 июля и всё так же казавшейся ему чужой.

— Бонапарт сказал, что мы вернёмся через Сирию, если не сможем вернуться морем, — сказал Монж.

— Бонапарт говорит много всего, — ответил Бертолле. — Сегодня вечером он прав, что говорит. Армии нужно в это верить.

Они просидели во дворе час, без плана, без решения, просто вместе.

Они поднялись поодиночке и разошлись по своим комнатам. Больше делать им было нечего.

Денон сел за рабочий стол и стал писать.

«Мы потеряли флот тринадцать ночей назад, не зная об этом. Я говорю „мы“, потому что это точное слово. Эта потеря общая, хотя меня не было при Абукире и я не моряк. То, что я потерял вместе с флотом, это уверенность в том, что увиденное мною здесь не вернётся во Францию или, по меньшей мере, не вернётся в том виде, который я выбрал бы. Мои тетради, мои рисунки, двести сорок статуэток и

амулетов, купленных мною на рынках Саккары и Мемфиса. Всё это теперь заложник военной ситуации, над которой я не властен».

Он остановился. Перечитал. Вычеркнул последнюю фразу. Слишком жалобно. Денон начал заново.

«Меня сегодня занимает не страх. Я не думаю, что мы умрём здесь. Бонапарт что-нибудь придумает, он всегда что-нибудь придумывает. Меня занимает вопрос более отвлечённый: зачем нужно свидетельство, если свидетель не может вернуться? Рисунки, которые я сделал с пирамид, Сфинкса, барельефов Саккары, имеют ценность, если кто-то их увидит. Запертые в ящике в Каире, они не ценнее камня, который изображают».

Он отложил перо.

Его альбомы с набросками весили все вместе около двенадцати килограммов. Статуэтки и амулеты в деревянных ящиках — около сорока килограммов. Человек мог нести двенадцать килограммов на спине в долгом переходе. Сорок килограммов требовали лошади или мула. Лошадей и мулов армии нельзя было использовать для личных коллекций гражданского рисовальщика.

Он составил список того, что мог бы нести сам, если бы обстоятельства этого потребовали. Тетради, в первую очередь и безусловно. Рисовальные принадлежности, перья, уголь, чернила — несколько килограммов. Из купленных предметов самые маленькие и самые ценные: скарабей из фаянса и стеатита, амулеты из лазурита и сердолика, *ушебти* из расписного дерева со скрещёнными руками. То, что уместится в кожаную сумку.

Остальное — керамика, фрагменты барельефов, каноны из алебаstra — останется. Если уходить пешком через Сирию, как говорил Бонапарт, нельзя навьючить керамику на спину идущему по пустыне человеку.

Этот вынужденный отбор открывал ему то, чего он не предвидел. С самого отъезда он считал, что документирует Египет, чтобы привезти его во Францию. Теперь действительность брала своё. То, что он привезёт, зависело меньше от его выбора, чем от того, что могло физически проделать путь. История, которую рассказывают о стране, это история того, что смогло вернуться. Остальное не в счёт.

Он написал последнюю строку:

«Если эти тетради дойдут до тебя, а я нет, значит, они путешествовали одни. Это, вероятно, лучший способ путешествовать. Вещи легче людей».

Он сложил лист и вложил его в первую тетрадь, между страницами Тулона. Потом задул лампу и стал ждать дня.

V – Институт Египта

Спустя три недели после Абукира, когда армия переваривала морское бедствие, Бонапарт декретом основал Институт Египта 22 августа 1798 года, через двадцать девять дней после взятия Каира.

Институт имел официальной задачей изучать страну во всех её измерениях — природном, историческом, экономическом — и отвечать на вопросы, которые военная администрация не умела решить сама. Институт заседал во дворце Хасан-Кашифа. Бонапарт был его вице-президентом, Монж — президентом. Каждые пять дней учёные собирались в большом зале и возобновляли работы.

Монж председательствовал на первом заседании.

Он преподавал начертательную геометрию сыновьям ремесленников, которые учились читать в то же время, когда осваивали конические сечения. Политехническая школа была основана для того, чтобы заслуга заменила происхождение. Для него Египет не был завоеванием. Он был доказательством того, что революционная Франция

способна создать то, чего никогда не создадут монархии: научную экспедицию в самом сердце военной кампании.

Он открыл прения несколькими словами:

— Мы здесь, чтобы понимать, а не завоёвывать. Прошу вас никогда этого не забывать.

Сидевший в последнем ряду Денон записал эту фразу.

Бонапарт приходил часто. Учёным нравилось, что их слушает человек, обладающий властью.

— Господа, Египет был самой цивилизованной страной мира. Три тысячелетия истории, погребённые под землёй. Вам предстоит их откопать. Измеряйте, рисуйте, собирайте. И изучайте сегодняшний Египет. Наука должна служить и живым.

Несколько недель спустя Денон провёл несколько дней, рисуя пирамиды со всех сторон. Жомар взобрался на вершину Великой пирамиды. Три часа подъёма по каменным блокам. Вид оттуда: пустыня на западе, долина Нила на востоке, Каир на северо-востоке.

— Какой вид, — прошептал он архитектору Бальзаку. — Весь Египет одним взглядом.

— Да. И отсюда я смогу выверить свои визирования по четырём граням.

Они измерили остатки храма Птаха, бога-творца Мемфиса. В пыли лежали обломки колоссальной статуи из розового гранита, которую позднее припишут Рамсесу II.

Работа была неблагодарной. Статуя была разбита на несколько кусков, разбросанных в траве. Восстанавливать размеры приходилось сложением, возмещая пробелы, оценивая недостающие части.

Около полудня Жомар сел в тени головы. Почти два метра высотой.

Он рассматривал лицо. Рот слегка улыбался. Эта улыбка, свойственная колоссам Нового царства, — ни доброжелательная, ни угрожающая, просто присутствующая с тринадцатого века до нашей эры. Нос был отбит, вероятно, солдатами Средневековья, полагавшими, что уничтожают власть, уничтожая лицо. Урей — царская кобра на лбу, знак божественного верховенства — был сорван, остался лишь след. Немес был цел, его параллельные полосы читались под слоем пыли.

На поясе — на уровне бёдер, там, где сломанные ноги унесли остальное, — Жомар заметил картуш. Два вытянутых овала, обведённых сплошной линией: царские имена, которые никто ещё не умел читать.

Голову нельзя было увезти. Она весила несколько тонн. Она была вытесана из цельного блока розового гранита, добытого в каменоломнях Асуана.

Старик, сидевший на корточках в тени колоссальной головы, уже некоторое время наблюдал за Жомаром. Сторож, быть может, или просто человек, севший здесь раньше него и не двигавшийся с места. Жомар показал ему свой блокнот, схему расчётов. Тот заговорил, но Жомар не понял. Затем старик взял прутик и начертил в пыли, возле ступни статуи, две параллельные линии и три косые черты поперёк. Схема. Не такая, как у Жомара, но узнаваемая: груз, движущийся по наклонной плоскости. Они просидели так некоторое время, двое мужчин и две схемы в пыли. Один располагал инструментами. Другой хранил в памяти. Расчёт в уме. Глыба в восемьдесят тонн. На барке. Нильские барки были известны. Плоские лодки, лёгкие, способные поднять не больше двадцати тонн. Как перевозили по воде восемьдесят тонн?

Очевидный ответ был: не на одной барке. На нескольких, собранных в плавучий плот, связанных вместе, со статуей, положенной на брусья, соединявшие все лодки. Расчёт

показывал, что понадобится не менее десяти барок обычного размера, скреплённых в тесный строй.

Десять барок. Сотни метров канатов. Сотни людей. Чтобы перевезти статую к храму.

Его поражал не технический подвиг, трудный, но осуществимый. Нет, поражало само решение его совершить. Решить перевезти восемьдесят тонн на девятьсот километров по воде означало обладать уверенностью. Уверенностью в том, что результат стоит усилий, что статуя будет стоять на месте и через тысячу лет, что Империя, которую фараон стремился прославить, просуществует.

Фараоны ошибались. Империи недолговечны. А статуи долговечны. Эта лежала в пыли, разбитая, но здесь, видимая, измеримая, реальная.

Величие Древнего Египта заключалось, быть может, не столько в том, что он совершил, сколько в том, что он замыслил оставить. Эти памятники строились не для современников. Они были построены для нас.

Денон проходил с альбомом для набросков и остановился, увидев Жомара, сидящего в тени головы колосса.

— Размышляете?

— Измеряю. Что то же самое.

В декабре Бертолле подсчитал, что было сделано с июля. Сотни заполненных тетрадей, тысячи образцов, мемуары по геологии, ирригации, мумификации, сельскому хозяйству, языкам. Пять месяцев работы. Реестр был закрыт. Страна откроет свои тайны лишь тем, кто останется в ней очень надолго.

Дезе с лета преследовал Мурад-бея в Верхнем Египте. Бонапарт решил отправить вслед за ним комиссию учёных,

которая выедет в середине декабря 1798 года для изучения фиванских памятников. Денон вызвался добровольцем.

Вопрос о коллекциях уже ставил проблемы, которые никто не хотел решать прямо. Учёные собирали природные образцы — минералы, чучела животных, сушёные растения — с молчаливого согласия Бонапарта, который видел в этом основы будущего египетского музея в Париже. Но археологические предметы относились к иной категории, нравственно более двусмысленной.

Жоффруа Сент-Илер возвращался с рыбного рынка Эмбабы с восемью видами, которых никогда прежде не видел.

Вскрытие неизвестной рыбы было для него беседой. Разрезы, наблюдения, записи, сравнение с анатомическими воспоминаниями о европейских видах. Внутреннее строение рыб было удивительно постоянным от вида к виду. Те же органы на тех же местах, с вариациями, отражавшими разный образ жизни. У донной рыбы глаза располагались иначе, чем у пелагической. Но основной план был сходен.

Это постоянство анатомического плана при разнообразии видов он начинал смутно различать, ещё не умея его сформулировать. Если виды были созданы раздельно, как утверждало господствующее учение, почему у них один и тот же столь точный план? Ответ, что они происходят от общего предка, был опасной идеей. Кювье, профессор Музея естественной истории, отверг бы её. Академия взглянула бы на неё косо.

Четвёртую рыбу уже вскрывали, когда Денон вошёл и остановился перед запахом.

— Вы всё ещё работаете.

— Да. Это слоновые рыбы. Эндемики Нила и Конго. Такие электрические органы под хвостом есть и у рыб Амазонии, развившиеся на расстоянии десяти тысяч километров без

всякого контакта. Это не совпадение. Это анатомическое ограничение.

Из восьми видов, принесённых тем утром, один заставил его остановиться как вкопанного. Он купил его у рыбака, не понимавшего, почему француза интересует эта обычная рыба.

Рыбу поместили в наблюдательный бассейн, глиняную миску, наполненную нильской водой. Рыба была длиной около шестидесяти сантиметров, буро-золотистая, покрытая чешуёй, толстой, как сочленённые щиты. Медленное плавание, с достоинством рептилии.

Жоффруа остановили грудные плавники.

Не плоские, лучистые плавники, как у всех рыб, которых он вскрывал с двадцати лет. Мясистые, лопастные придатки на внутренней опоре, похожей на конечность.

Он провёл ночь, изучая живую рыбу, а затем вскрывая её. Внутренняя структура плавника содержала нечто похожее на плечевую кость, длинную, центральную кость, от которой отходили лучи. Эта рыба, которую он назовёт *Polypterus bichir*, не имела ничего общего с Америками. И всё же у её плавников был тот же основной анатомический план.

Жоффруа написал Кювье тем вечером. Кювье был в Париже. Ему отказали в посадке на корабль, идущий в Египет: слишком рискованно, слишком неопределённо. Их письма разминались на морях, опаздывая на месяцы.

«Дорогой друг, — писал Жоффруа, — я нашёл здесь нечто, что само по себе оправдало бы наше путешествие. Рыбу, у которой, кажется, есть руки. Не руки, разумеется, плавники. Но внутренний план, похожий на план конечности и притом тот же самый, совершенно тот же, у видов, которые никогда не могли скреститься. Я до сих пор не знаю, что об этом думать. Но это не может быть случайностью».

Кювье не отвечал по этому пункту несколько месяцев. Когда ответил, то лишь для того, чтобы сказать, что сходства не подразумевают общего происхождения. Что Бог вполне мог использовать один и тот же план в разных обстоятельствах.

VI – Восстание в Каире

Жомар начал вести журнал города. Не личный дневник — у него не было такого склада — а перечень: оценочная численность населения по кварталам, плотность застройки, ширина переулков, высота фасадов, площадь рынков. К нему добавлялись наблюдения о потоках движения, часах работы базаров, географии воды, фонтанах и их бассейнах.

В тот вечер, накануне восстания, о котором он ещё не подозревал, он вышел с фонарём измерять площадь Эзбекия. Площадь была сердцем французского присутствия в городе. Здесь Бонапарт устроил свою главную квартиру, здесь проходили рынки, официальные празднества, сборы войск. Каирцы в большинстве пересекали её, не задерживаясь, с опущенным взглядом, быстрым шагом.

Он измерял углы площади, отмечал расстояния при помощи выверенной верёвки, когда заметил, что группа мужчин, сидевших у фонтана, наблюдает за его работой.

Один из них встал и подошёл. Он произнёс несколько слов по-арабски, которых Жомар не понял. Потом указал на мерную верёвку и сказал другую фразу. Жомар истолковал её как вопрос о том, что он делает.

Он показал ему частичный план площади, который начертил. Мужчина внимательно его рассмотрел, перевернул блокнот, держал его на вытянутой руке. Потом сказал фразу своим товарищам. Они засмеялись. Смех не насмешливый, а скорее удивлённый.

Жомар так никогда и не узнал, что они сказали. Они узнали, думал он, свою площадь на рисунке. Вероятно, это было

впервые, когда кто-то показал им их собственный город, увиденный сверху. Или, может быть, они смеялись потому, что молодой француз со своей верёвкой пытался измерить то, что не нуждалось в измерении. Узнать это было невозможно.

21 октября 1798 года скрытая враждебность каирского населения взорвалась. Искра была ничтожной. Ссора между французским солдатом и торговцем.

На заре 21 октября тысячи мятежников, вооружённых саблями, копьями и палками, хлынули на улицы Каира. Одиночные солдаты были перебиты, обезглавлены. Восставшие кварталы забаррикадировались. Восстание зрело три недели. Оно вспыхнуло за одно утро.

Бонапарта разбудили выстрелы. Он приказал всем наличным войскам отбить город квартал за кварталом.

— Этот мятеж должен быть подавлен без промедления, — крикнул он своим генералам. — Если мы проявим малейшую слабость, нас перебьют до вечера. Огонь по любому враждебному сборищу, без предупреждения.

Артиллерия обстреливала восставшие кварталы. Дома из необожжённого кирпича рушились облаками пыли. Пехотинцы прочёсывали улицы. Мечеть аль-Азхар была захвачена. Осквернение, ужаснувшее всё мусульманское население Египта.

Подавление длилось три дня. Бонапарт приказал казнить всех захваченных живыми вождей мятежа. В течение нескольких ночей их обезглавливали в Цитадели, а тела бросали в Нил.

Денон не стал дожидаться конца подавления, чтобы выйти. Его слуга-египтянин, перепуганный, советовал ему вернуться. Он не послушался.

То, что он увидел на улицах квартала, где жил, навсегда осталось в его памяти. Группы вооружённых людей.

Горящие лавки. Запах дыма и что-то ещё под ним, что он узнал и не назвал. Французский солдат лежал в переулке. Мёртвый. Женщины кричали из окон. Ребёнок бежал. Французская армия, застигнутая врасплох, не сразу организовала ответ.

— Ступайте домой, ради всего святого, — бросил офицер, заметив его с альбомом для набросков. — Сейчас не время рисовать.

— Напротив, сейчас именно время. Через пятьдесят лет никто не будет знать, что здесь произошло, если никто этого не запишет.

Он в конце концов вернулся спустя час и наблюдал за дальнейшим из окна своего второго этажа. Французские солдаты окружали группу повстанцев в переулке. Мечеть распахнула двери, чтобы принять беглецов.

Денон закрыл окно. На улицах не стихали выстрелы. В Институте, в нескольких сотнях метров отсюда, остальные учёные проживали ту же ночь по-своему.

Учёные были заперты. Не по приказу военных. Бонапарт в спешке боёв не заботился об их передвижениях. Они были заперты по необходимости: французских солдат убивали в двухстах метрах отсюда, вооружённые мятежники были в каждом квартале, выстрелы не смолкали с самого рассвета.

Фурье устроился в большом зале Института со своими тетрадами и занялся уравнениями. Он думал, хотя и не облёк это в теорию, о том, как тепло распространяется в телах. Оно распространяется по точным и неизменным законам. Мятежи распространяются не по таким правилам. Это была ещё одна причина предпочитать физику.

Около полуночи к нему присоединился Жомар с фонарём. Бертолле вошёл около трёх часов ночи, не предупредив о себе. Он сел и некоторое время смотрел, как работают двое других.

— Что вы вычисляете? — спросил он Фурье.

— Как распространяется тепло в неоднородной среде. Уравнений у меня пока нет.

— Полезно. Здание слева горит с самого утра. Если повезёт, ваши размышления предскажут, заденет ли огонь наше до рассвета.

— Продолжайте работать, — добавил он, выходя. — Это единственное, что отличает наше пребывание здесь от обычной оккупации.

Они работали молча до самого утра, каждый над своими расчётами, пока снаружи горел город.

Монж же написал письмо жене. Регулярной почты не было со времён Абукира. Он всё равно написал. Что он писал в этом письме, Денон так и не узнает. Известно лишь, что он тщательно запечатал его и потом носил в кармане куртки до самого отъезда из Египта, год спустя.

25 октября учёные осторожно вышли из Института. Три дня они просидели за баррикадами, слушая выстрелы. Целые кварталы превратились в дымящиеся руины.

Денон вышел на разорённые улицы и стал рисовать.

По крайней мере, попытался. Перед ним стоял обрушившийся дом с фасадом, сорванным ядром, обугленные деревянные балки поперёк улицы, детский башмачок в пыли. Он провёл линию конька того, что осталось стоять. В Гизе он рисовал пирамиды, а на переднем плане — мёртвых. На Мальте он рисовал произведения, которые увозили, и те, которые оставляли. Денон всегда считал, что рисовать — значит свидетельствовать, а свидетельствовать — значит быть беспристрастным. У карандаша нет лагеря. Что существовало, то запечатлено. Не более того.

Но этот дом разрушили французские солдаты. Артиллерия армии, с которой он путешествовал. От которой зависели

его пропитание, передвижение, работа. Документ, который он создаст, рисуя эти руины, будет документом о расправе, которую его присутствие здесь некоторым образом одобряло. Это было не то же самое, что рисовать пирамиды. Денон всё же рисовал. Не по убеждению. По рефлексу. Страница заполнилась. Когда он закрыл её, он по-прежнему не знал, что сделал. Что-то необходимое или что-то недостойное. Быть может, и то и другое сразу.

Дальше в переулке резная деревянная дверь лежала сорванной с петель. Выпотрошенная лавка на рынке, опрокинутые полки, медный сундук, открытый и пустой. В переулках этого разрушенного квартала был тот же основополагающий жест, что и во дворце Хасан-Кашифа, когда комиссары заполняли свои списки. Только без критериев, без разбора. Армия грабила так, как Институт собирал. Слово было разным. Жест — родственным.

Тем утром, когда он шёл по разорённым улицам, Хасан шагал впереди Денона, прокладывая путь. Возле мечети Ибн-Тулуна они увидели двух французских солдат, опустошавших лавку ткачей. Ткани выносили из двери свёртками и складывали на деревянную тачку. Шелка, крапёный хлопок, белый лён, который берегли для больших дней. Один из солдат снимал со стенного крепления ткацкий станок.

Хозяйка стояла в проёме задней двери, женщина в чёрном. Она смотрела и молчала. Ни мольб, ни криков. Только глаза, следившие за каждым свёртком. Солдат прошёл мимо неё с тачкой, и она отступила на шаг, ровно на один, не больше и не меньше.

Хасан остался на улице. Никакого перевода. Нечего было переводить. Но Денон взглянул на него на мгновение, на Хасана, наблюдавшего за женщиной, которая наблюдала за солдатами, и понял, что посредник тоже видел. И что видеть, не имея возможности действовать, оставляет на лице особый

оттенки. Никаких записей. Иные лица не записываются в блокнотах.

Вечером того дня Хасан вернулся к себе, в коптский квартал, где армия снимала ему комнату. Ни на стороне солдат, ни на стороне мятежников. На стороне языка. Переводчик по обе стороны черты, которую не мог пересечь. Французские приказы переведены. Арабские мольбы переведены. Иногда он уже не знал, на каком языке думает. В этот вечер он не думал ни на каком.

Денон нарисовал опустошённую лавку. Гвозди в стене, на которых висели ткани, более тёмный след на полу, где годами стоял ткацкий станок, дверной проём с женщиной в чёрном, которая смотрела. Работа быстрая, без подписей, без даты. Когда он закончил, солдаты уже ушли с тачкой. Женщина вернулась в лавку и закрыла внутреннюю дверь.

После окончания расправы Бонапарт созвал уцелевших нотаблей и улемов, не принимавших активного участия в восстании, чтобы ясно объяснить им страшные последствия любой будущей попытки мятежа.

— Вы видели, что бывает. Ваши кварталы разрушены. Ваши предводители казнены. Аль-Азхар обстреляна. Если вы восстанете снова, я сравняю с землёй весь город.

— Этот мятеж обнажает принципиальную невозможность нашего положения, — сказал Монж Бонапарту на совете, последовавшем за расправой. — Мы не можем бесконечно управлять этой страной одной лишь военной силой. Население враждебно к нам и останется таким, пока мы будем здесь чужеземными оккупантами.

Совет закончился поздно. На следующее утро Бонапарт вызвал Монжа. Не во дворец, а во внутренний двор реквизированного дома близ площади Эзбекия, вдали от офицеров. Там были кофе и два табурета. Бонапарт стоял.

— Вы сказали, что мы не можем управлять одной силой. Вы правы. Что вы предлагаете?

Монж не рассчитывал, что с ним станут советоваться по этому вопросу. Он всё же сказал, что думал.

— Учреждения. Не прокламации. Настоящие учреждения. Суды, действующие по известным правилам. Школы. Систему землевладения, защищающую феллахов от произвола. То, что Революция сделала во Франции, но здесь.

— За какое время?

— Минимум за поколение.

— У нас нет поколения. У нас, быть может, два года.

— Тогда вы не можете управлять этой страной. По-настоящему — нет. Вы можете её оккупировать. Это другое.

Бонапарт долго смотрел на него.

— Оккупации хватит. Для того, что я хочу сделать.

Монж не спросил, что Бонапарт хочет сделать.

В тот вечер Монж записал в дневнике: «Бонапарт знает, что он не правит. Оккупацию администрируют. Разница мало его заботит. Для меня она очень важна. Я по-прежнему не знаю, важна ли она для египтян».

В недели, последовавшие за расправой, вновь воцарилось некое зыбкое подобие нормальной жизни. Рынки открылись. Мечети снова приняли верующих, кроме аль-Азхар, которая оставалась закрытой. Французские солдаты возобновили обходы. Учёные снова стали выходить в город со своими блокнотами и приборами.

Учёные после мятежа переживали своё пребывание в Каире иначе. Иллюзия мирного сосуществования с населением разбилась. Они продолжали работать, ходить на рынки, поддерживать связи с некоторыми каирскими нотаблями. Но скрытое насилие могло вспыхнуть в любую минуту.

Денон был в глазах каирцев тем, чем всегда был в глазах других. Французом, а значит, оккупантом, а значит, потенциальным врагом.

Большинство лавок открылись вновь. Ремесленники работали. Жизнь возобновилась.

В переулке позади аль-Азхар Денон нашёл кораническую школу, где ученики возобновили занятия. Дети сидели кружком вокруг старого наставника, который читал вслух и заставлял их повторять. Наставник поднял глаза, когда он проходил, взглянул на него и снова принялся читать, не изменившись в лице.

Детские голоса твердили текст, которого они, вероятно, всё ещё не понимали, на языке, который их родители, быть может, уже не читали. Вантюр де Пароди, востоковед, долго работавший в левантийских и варварийских факториях, говорил ему, что передача предшествует пониманию. Слова входят сначала в тело, смысл приходит потом. Жест был понятен: передавать, продолжать, не давать перерыву превратиться в разрыв.

Город был ранен. Он затянет раны по-своему, в ритме, который французы не контролировали и не поймут до конца. Это была не стойкость в героическом смысле. Это была лишь способность живого организма продолжать свои существенные функции вопреки перерывам. Рынки открывались, потому что люди хотели есть. Мечети принимали верующих, потому что молитва не прерывалась. Дети твердили уроки, потому что передача не ждала, пока оккупанты закончат сражаться.

VII – Сфинкс и некрополи

В ноябре Денон организовал экспедицию к Сфинксу. Они выступили до рассвета, чтобы прийти к скользящему

утреннему свету. Единственному свету, который выявит детали камня.

Сфинкс предстал сперва как масса. Нечто более тёмное, чем песок, и более плотное, чем ночь. Затем свет пришёл с востока, и голова выступила: отсутствующий нос, пустые глаза, глядящие точно туда, где всходило солнце. Монумент длиной семьдесят три метра и высотой двадцать оставался погребённым по плечи. Поверхность известняка проступила во всех своих оттенках. Серо-бежевая там, где ветер отполировал породу, темнее в углублениях, где песок скопился тонкими слоями. Трещины пересекали лоб, спускаясь от макушки к вискам, иные шириной в несколько пальцев, другие едва заметные. Камень не был однородным. Пласты более мягкого известняка чередовались с более твёрдыми, образуя горизонтальные линии, которые бороздили лицо в согласии с природной геологией породы, из которой был высечен монумент. На щеках оставались видны следы орудий, повторные удары зубила, вылепившие изгибы и оставившие правильные грани, которых эрозия ещё не стёрла. Песок поднимался до груди, образуя пологий склон, который ветер непрестанно переделывал, песчинку за песчинкой.

Правый глаз надолго приковал внимание Денона. Известняк был обработан вглубь: глазное яблоко выдолблено, чтобы создать взгляд, которого больше не существовало, верхнее веко читалось под эрозией. Кто-то пожелал, чтобы у этой вещи был взгляд. Не декоративное присутствие. Направленный взгляд, обращённый к чему-то определённому.

Голова повёрнута на восток. Лицо смотрело именно туда, на солнце при восходе.

— Это не статуя, — тихо сказал Денон. — Это инструмент. Они высекли астрономический измерительный прибор размером с холм. Гигантские солнечные часы, где лицо —

это гномон. Этот взгляд, устремлённый на восток в день равноденствия, — не благочестие. Это геометрия. Вольней сказал бы, что у этого лица широкий нос и полные губы. Я не берусь решать. Но тот, кто высек это лицо, умел измерять.

Завершив документирование места, экспедиция направилась к Саккаре. Некрополь тянулся на несколько километров в пустыне, кладбище Древнего царства, где ступенчатая пирамида Джосера, самая древняя из когда-либо построенных, вздымала свои шесть уступов на шестьдесят два метра. Они провели там несколько дней. Денон рисовал. Жомар измерял. Жоффруа изучал барельефы, пытаясь прочесть в них то, о чём молчали тексты. Стены мастаб местами сохраняли полихромию. Египетская синь, этот медно-кальциевый пигмент, который мастера получали сплавлением, держалась в углублениях, защищённых от света. Красная охра мужских тел, жёлтый цвет женских, живописные условности, повторённые на километрах погребальных стен. Иероглифы были высечены в углублённом рельефе, затем окрашены, каждый знак врезан в камень на несколько миллиметров, прежде чем получить цвет. Писцы работали справа налево по этим вертикальным колонкам, их ошибки порой были заметны там, где знак стёрли и вырезали заново, слегка сместив. Сцены повседневной жизни разворачивались в наложенных друг на друга регистрах: сверху благородные занятия, приёмы, церемонии, приношения; внизу полевые работы, мясная лавка, пекарня. Социальная иерархия, вписанная в вертикаль стены. Жоффруа присел на корточки перед панно, изображавшим рыбаков, тянущих сеть. Рыбы были определимы по видам: нильский окунь, тилапия, кефаль.

По-прежнему увлечённый вопросами естественной истории, Жоффруа сосредоточился на изображениях животных в этих древних барельефах.

— Ибисы, крокодилы, бегемоты, львы, страусы. Некоторые из этих видов больше не водятся в Египте. В фараоновскую эпоху они ещё существовали. Климат изменился, или охота. Они спустились в шахты с факелами. Двадцать метров, тридцать метров под пустыней. Спуск шёл по ступеням, высеченным в скале, неровным, отполированным тысячелетиями шагов. Стены шахты сближались по мере спуска, круг дневного света над их головами уменьшался, пока не стал лишь белой точкой во тьме. Воздух густел. Пламя факелов колебалось в слабых сквозняках, что ещё ходили между поверхностью и этими глубокими камерами. Запах был особенный: селитра, минеральная пыль, что-то и животное, определить его точно было невозможно. Стены шахты хранили следы выработки, вертикальные удары, идущие параллельными полосами. На проходку этих шахт ушли месяцы, быть может, годы. Бригады рабочих, трудившихся во мраке и поднимающих породу корзина за корзиной. Погребальные камеры были невелики, три метра на четыре самое большее, едва достаточно для саркофага и приношений. Низкий потолок заставлял пригибать голову. Обломки глиняной посуды усеивали пол, остатки, брошенные грабителями. В глубине погребальные камеры, иероглифы, настенные росписи, путь умершего, прочерченный на камне.

Между вылазками в Саккару Денон возвращался в Каир. В коптском квартале он знал мастерские ткачей, которые посещал регулярно.

Техника была проста и древна. Ручной станок, два чередующихся ремиза, челнок, пропускаемый между нитями. Шум станка наполнял мастерскую: ровный стук бёдра, уплотнявшего нити утка, скрип ремизов, когда ткач нажимал на педали. Шерсть пахла жиропотом даже после стирки, животный запах мешался с растительными красителями, сохнувшими в кувшинах, выстроенных вдоль стены. С балок

потолка свисали мотки, рассортированные по оттенкам: глубокие синие тона индиго, кармин марены, зеленовато-жёлтые тона санны. В углу ученик готовил протравную ванну, растворяя квасцы в горячей воде, чтобы закрепить цвета на волокне. Процесс не изменился: замачивание в протраве, отжим, замачивание в красителе, полоскание в Ниле. Те же движения, что и в фараоновскую эпоху, передаваемые от отца к сыну сквозь века. Шерсть и лён, сотканые по геометрическим узорам: ромбы, шевроны, костыльчатые кресты, стилизованные цветочные мотивы.

Денон сравнил современную коптскую ткань с копиями фресок Бени-Хасана, которые ему показывали, гробниц правителей Среднего Египта. Мотив ромба, вписанного в круг, совпадал, как совпадали сочетание шерсти и льна и ширина ткани, около шестидесяти сантиметров.

Четыре тысячи лет непрерывности в движении ткача.

Он купил несколько вещей. Фрагменты коптской ткани, на некоторых по краю ещё сохранились рисунки охоты или рыбной ловли. Застывшие силуэты, чёткие профили, иератический стиль египетского народного искусства, пережившего христианство и арабское завоевание без существенных перемен.

Также глиняную посуду. Амфоры с двумя ручками, кувшины с узким горлом, чаши на ножке, изготовленные из той же нильской глины, обожжённые в тех же печах. Мастера воспроизводили формы, которым их научили отцы, а те получили их от собственных отцов. Цепь не прервалась.

Бертолле получил четыре человеческие мумии из Саккары.

Его занимали не тела, ими займётся медицина. Его занимала химия бальзамирующих смол. Эти чёрные блестящие вещества, пропитывавшие льняные бинты, представляли собой смесь органических веществ, компоненты которой он хотел определить.

Он растворял в спирте соскобленные образцы, анализировал пары, отмечал температуры плавления. На его рабочем столе стояли в ряд приборы: перегонный куб из венецианского стекла, ртутные термометры, точные весы под колпаком. Он работал при свете четырёх свечей, расставленных квадратом, устойчивом свете, не дрожавшем, когда он делал измерения. Образцы смолы были рассортированы по мумиям, снабжены латинскими этикетками, хранились во флаконах, запечатанных воском. Одни были глубокого чёрного цвета, другие рыжевато-бурые, третьи почти прозрачные. Он брал фрагмент пшпатель, помещал в тигель, медленно нагревал, отмечая, при какой температуре материал меняет состояние. Смола сперва размягчалась, затем плавилась, затем дымила, выделяя едкий запах горелого дерева, смешанный с чем-то смолистым. Пары собирались в охлаждаемую трубку, где конденсировались в маслянистые капли. Смола теребинта, животный жир, пчелиный воск, натрон, иудейский битум. Сочетание менялось от мумии к мумии, но логика была постоянной: создать среду, враждебную бактериальному разложению.

В три часа ночи он положил перо и посмотрел на четыре тела, лежавшие на его столах.

Эти люди умерли тысячи лет назад. Их имена, быть может, значились в надписях на гробах. От них остались лишь сохранённые тела.

В этой неизменности было нечто, смущавшее его. Не в метафизическом смысле, Бертолле был материалистом. Но в научном. Эти бальзамировщики решили задачу органической химии. Наблюдением, опытами, передачей приёмов из поколения в поколение. Практика опередила теорию на две тысячи пятьсот лет.

Он записал в своём отчёте: «Египетские приёмы бальзамирования составляют совокупность эмпирических

химических знаний замечательной утончённости, систематическое изучение которых могло бы дать сведения о консервирующих свойствах, ещё недостаточно известных».

В Саккаре Жоффруа Сент-Илер вместе с Деноном исследовал окрестности некрополя священных животных, где, как говорили, покоились быки Апис, посвящённые Птаху. В обломках виднелись фрагменты гранита. Они остановились перед осколком чёрного гранита.

Денон написал: «Древние грабители оставили эти глыбы. Это единственное сходство. Они брали то, что считали сокровищами. Мы берём то, что считаем знанием. Через две тысячи лет, если кто-нибудь спустится сюда с фонарём, он увидит всё ещё взломанные крышки. И спросит себя, как я спрашиваю себя сейчас, в чём разница между грабителем и учёным в тёмной галерее».

У его ног, среди осколков, рассыпанных в пыли, на одном фрагменте ещё виднелись два иероглифических знака, высеченных в углублённом рельефе: птица, ломаная линия. Он подобрал. Сунул в карман. Движение было автоматическим, без решения, прежде чем вопрос, который он только что записал, успел дойти до его руки.

В ту ночь, прежде чем Денон вернулся на бивак, рынок в Саккаре продолжался во тьме. Всего два фонаря, поставленные на песок между прилавками. Феллахи из соседних деревень ждали, сидя на корточках позади своих циновок. Солдаты приходили группами по двое-трое, без оружия, руки в карманах. Они взвешивали в руке, прохаживались, уходили, унося что-то, завернутое в куртку. Ночной воздух был свеж после дневного зноя. Песок ещё хранил тепло, но пустынный ветер уже нёс холод глубоких ночных часов. Разговоры велись вполголоса, торг шёл на ломаном арабском или жестами. Один солдат взвешивал на ладони скарабея, поднеся его к фонарю, чтобы рассмотреть

иероглифы, вырезанные на нижней стороне. Другой торговался из-за цены амулета из фаянса, маленькой бирюзовой фигурки Анубиса с головой шакала.

Бертолле был там же, сидя на складном стуле, который он велел везти за собой из Александрии. Перед ним стоял маленький походный стол, покрытый бланками Комиссии, а Хасан показывал ему вещи одну за другой, держа лампу. Бертолле осматривал и вносил в свой реестр номер, описание по-латыни, место в памятнике, состояние сохранности. Шесть предметов этим вечером: три царских скарабея, писцовая палетка из древесины сикомора, гранитная фигурка, канопский сосуд из алебастра с крышкой. Он записал: «Следы чёрной смолы на горлышке». Затем он остановился, поднял голову на Хасана.

— Что лежит в другой урне, той, что с крышкой в виде шакала?

— Желудок, — сказал Хасан.

— А. Я запишу и это тоже.

Бертолле просил в Саккаре мумии животных. Феллахи принесли ему шесть. Двух священных ибисов, двух кошек, молодого крокодила, одну землеройку. Он разместил их в большой комнате, которую Институт отвёл ему под лабораторию.

Он исследовал бинты. Льняные, пропитанные бурым веществом, которое он определил как битум, смешанный с растительными смолами. Из полостного наполнителя были взяты образцы: натрон, каменная соль, минеральные порошки. Больше всего его занимал натрон. Гидратированный карбонат натрия, встречающийся в природе в озёрах пустыни к западу от Каира. Он совершил туда экскурсию некоторое время назад с другими членами Института. Озёра Натрун. Белые просторы, по берегам которых естественным образом кристаллизовался этот

щелочной порошок, который египтяне собирали, чтобы бальзамировать своих мёртвых.

Анализируя растворение натрона в солоноватых водах озера, он заметил нечто неожиданное: реакция между морской солью и карбонатом кальция могла обращаться вспять в зависимости от температуры и концентрации. Химики его времени полагали, что реакции всегда идут в одном направлении, причём более сильная кислота вытесняет более слабую. Бертолле начинал понимать, что это неверно. Что речь идёт о равновесиях.

Париж получит эти записки. Чтобы сформулировать полную теорию, Бертолле понадобятся четыре года раздумий. Её плодом станет *«Опыт химической статики»* 1803 года. Но зерно было здесь, в белых озёрах египетской пустыни, в созерцании естественной химической реакции, которую египетская природа повторяла тысячелетиями.

Мумии животных ставили перед Бертолле иной вопрос.

— Эти мумифицированные ибисы похожи на нынешних, — бросил Жоффруа. — Вы помните, о чём мы говорили на берегу Нила? Что египтяне почитали их потому, что наблюдали природу? Вот доказательство: за три тысячи лет ничего не изменилось.

— Они тождественны, — поправил Бертолле.

— Так утверждает Кювье. Виды неизменны со времён Творения. Мумии это доказывают: никаких изменений.

— А Ламарк?

— Ламарк говорит, что три тысячи лет слишком короткий срок, чтобы увидеть превращение. Что для этого нужно огромное время.

Бертолле взял в руки одну из мумий ибиса. Птица была жёсткой, прекрасно сохранившейся, оперение ещё угадывалось сквозь бинты.

— Ни тот, ни другой никогда не смогут этого доказать, — уточнил Бертолле. — Мы не проживём достаточно долго. Он положил мумию ибиса обратно.

Две ночи подряд они провели в Саккаре, ночуя в развалинах мастабы, чтобы оказаться на месте с рассветом. Некрополь тянулся на несколько километров в пустыню, обширное кладбище Древнего царства, где цари и вельможи воздвигали свои гробницы. Ступенчатая пирамида Джосера возвышалась в центре этого погребального пейзажа.

— Эта пирамида предшествует пирамидам Гизы на столетие, — добавил Жомар, вычисливший приблизительные даты по тем отрывочным сведениям, которыми учёные располагали о хронологии египетских царей. — Она отражает тот момент архитектурной истории, когда египтяне ещё экспериментировали с формами. Гладкие пирамиды Гизы — итог процесса, начавшегося здесь.

Поставленные друг на друга ступени напоминали месопотамский зиккурат, словно две цивилизации независимо пришли к одной и той же архитектурной догадке: громоздить, чтобы подняться к небу.

Вторую ночь Бертолле провёл, копируя надписи мастабы высокого сановника. Эти барельефы изображали занятия повседневной жизни: рыбную ловлю, охоту, земледельческие работы, разделку мяса, приготовление пива, с документальной точностью, которая восхищала натуралистов Комиссии не меньше, чем завораживала художников.

Возвращаясь из Саккары в Каир, Денон сделал крюк к берегам Нила в сумерках. В этот час свет был иным. Оранжевый и плотный, словно солнце стремилось пропитать камень, прежде чем исчезнуть. Он сел на известняковый блок у воды и попытался нарисовать реку против света. Задача была трудной. Свет менялся слишком быстро.

Жомар сел рядом и дождался, пока он закончит. Не говорить, когда другой рисует.

— Сегодня утром я кое-что подсчитал, — добавил Жомар, когда Денон закрыл блокнот. Гробница Джосера относится примерно к двум тысячам шестистам годам до нашей эры. Пирамида Хеопса — примерно к двум тысячам пятистам. Эти два памятника разделяет всего лишь столетие. Но один — архитектурный опыт, а другой — совершенство. Как можно продвинуться так быстро?

— Я не уверен, что вопрос в скорости. Мне кажется, у египтян был иной способ мыслить время. Для нас век — это долго. Для них, возможно, это был лишь срок, нужный, чтобы научиться.

Они вернулись в Каир в темноте, ведомые огнями минаретов. Вдали лаяли пустынные собаки. Где-то в переулках коптского квартала церковный колокол отбил час.

VIII – Научные споры

На заседании 15 декабря сошлись Монж и Фурье. Мера против смысла. Монж хотел объёмов и углов. Фурье хотел контекстов и значений. Бонапарт председательствовал и рассудил: и то и другое, не выбирая.

— Подлинная наука — это измерение, — сказал Монж, открывая прения. — Размеры пирамиды. Её объём. Её пропорции. А не окружающие её мифы. Описание и истолкование — две разные дисциплины. Мы здесь ради первой.

— Пирамиды — не просто объёмы, которые надо вычислить, Монж, — ответил Фурье. — Это царские гробницы, акты веры в бессмертие. Если вы сохраните от них одни размеры, вы опишете ларец, а не то, что в нём хранится. И, что хуже, вы рискуете решить, что поняли, лишь потому, что сосчитали.

Бонапарт, присутствовавший на заседании и следивший за спором, вмешался, пытаясь примирить эти два, казалось бы, противоречивых подхода.

— В одном вы оба правы, — сказал Бонапарт, поочерёдно глядя на Монжа и Фурье. «*Описание*» будет содержать и то и другое: измерения Монжа и смысл, который найдёт в них Фурье. Одно без другого осталось бы неполным.

Это же заседание было отмечено докладом Бертолле о химии натронных озёр египетской пустыни. Бертолле химически проанализировал образцы, взятые из нескольких озёр, и определил их точный состав.

— Натрон — это смесь солей: карбонат, бикарбонат, хлорид натрия. Семьдесят дней в этой порошкообразной смеси, и влага поглощается. Тело высыхает, не загнивая. Очень просто, очень эффективно.

Затем Жоффруа Сент-Илер представил свои наблюдения над мумифицированными ибисами, обнаруженными тысячами в некрополях священных животных близ Саккары.

— Два вида ибисов. Священный бело-чёрный ибис, который мы знаем, и другой, более мелкий, бурый, который, по-видимому, исчез. Если он ещё существовал в фараоновскую эпоху, а теперь его нет, значит, что-то изменилось. Я не знаю, что.

Заседание завершилось докладом Жана-Жозефа Марсея, востоковеда и директора Национальной типографии, учреждённой в Каире, об успехах печати арабскими литерами. «Курьер Египта» теперь печатался по-французски, и только прокламации печатались по-арабски.

— Мы способны печатать на классическом арабском с удовлетворительным типографским качеством, — объявил он. — Прокламации, декреты, объявления. Население может читать нас на своём языке.

В тот вечер Фурье представил исследование о распределении температур в египетской пустыне — тему, подсказанную ему наблюдениями во время военных переходов. Его анализ потоков тепла в неоднородной среде предвосхищал исследования о теплоте, которые он позднее проведёт во Франции. Присутствовавшие учёные слушали с тем вниманием, какого заслуживал ясный доклад о явлении, которое все они испытали на собственном теле.

— Жара пустыни — это не вопрос температуры окружающей среды, — пояснил Фурье. — Это явление потоков и обмена между почвой, воздухом и телами, подвергающимися её действию. Уравнений у меня ещё нет, но я полагаю, что однажды можно будет предсказать, как это тепло распространяется во времени и в пространстве.

Больше всего Бонапарта в этом Институте Египта занимало то, как люди радикально разной подготовки — математики, химики, натуралисты, художники, инженеры — сумели выстроить общий научный диалог вокруг общего предмета: Египта.

— Что это говорит нам о древних египтянах? — спросил он.

— Напрямую ничего, — признал Фурье. — Но это говорит нам о том, как устроена их среда. Чтобы понять, почему они строили дома определённым образом, ориентировали храмы по определённым осям, рыли гробницы на определённую глубину, необходимо понимать тепловые условия, которым они подвергались. Физика их мира — ключ к их архитектуре.

Бонапарт в конце заседания тепло поздравил всех докладчиков и призвал их усилить свои изыскания.

— Ваши труды превосходны, — продолжил Бонапарт, обращаясь к собранию. — Скоро — Верхний Египет. Храмы Фив. Денон откроет дорогу.

Фурье остановил Денона в коридоре дворца Хасан-Кашифа. Под мышкой у него была пачка чертежей, созданных Комиссией со времени прибытия в Каир. Обмер Великой пирамиды, планы Сфинкса, разрезы гробниц Саккары. Восемьдесят три листа.

— Эти чертежи, — заметил Фурье. — Вы собираетесь их увезти?

— В этом цель экспедиции, — сказал Денон. «*Описание*» не будет составляться здесь.

— Я говорю о предметах. О статуэтках, которые вы покупаете на рынке в Саккаре. Об амулетах в вашем багаже. Мы здесь, чтобы понять Египет, а не чтобы выпрести из него остатки.

Денон смотрел на пачку чертежей в руках Фурье. Измерения. Планы. Углы. Всё это останется здесь, в камнях, доступное всякому, кто придёт мерить после них. Деревянную раскрашенную статуэтку, купленную ещё летом, ту, со скрещёнными на груди руками в позе Осириса, никто не найдёт здесь через тридцать лет. Она будет в Париже или утрачена.

— Разница между нами, Фурье, в том, что вы считаете, будто понимания достаточно. А я думаю, что некоторые вещи нужно увидеть, чтобы понять. И чтобы их увидели, они должны путешествовать.

Фурье забрал свою пачку и направился к себе в комнату, двумя дверями дальше по коридору второго этажа. Денон остался в опустевшем коридоре. Он лёг поздно. Утром он обнаружил на своём рабочем столе раскрашенного деревянного *ушебти*, который, как он считал, был уложен в багаж, — тот стоял прямо, на виду, лицом к нему. Фурье, должно быть, заходил ночью. Он имел обыкновение бродить по дворцу в самые неожиданные часы, когда уравнивания не давались. Но на полу, прямо перед столом,

лежала песчинка. Одна-единственная, отчётливо видная на полированных плитках. Словно Фурье хотел сказать ему : «Этот песок откуда-то взялся».

Или как будто это была просто песчинка. С Фурье никогда не знаешь, что первично: намерение или жест, а может, всё наоборот. *Ушебти* простоял на его столе весь день.

Это же заседание в декабре 1798 года приняло также, помимо официальной программы, неформальное выступление Вантюра де Паради, главного переводчика экспедиции, который говорил по-арабски, по-турецки, по-персидски и на иврите с беглостью носителя, и дни проводил, переводя для Бонапарта, а ночи — за арабско-французским словарём, завершить который ему так и не суждено было.

Он взял слово в конце заседания.

— Я хотел бы представить Институту одно наблюдение. За пять месяцев нашего пребывания в Египте я заметил вещь, которая кажется мне важной для понимания этой страны. Арабский, на котором говорят нынешние египтяне, и классический арабский Корана — два разных языка. Не диалекты. Две различные системы, настолько же далёкие друг от друга, как латынь Цицерона и французский Мольера. Феллах из Дельты не понимает коранического текста, который читает наизусть. Он произносит его фонетически, не улавливая смысла.

— Что это означает? — спросил Монж.

— Это означает, что ислам в Египте отчасти — религия, верующие которой не понимают священных текстов в их первоначальной форме. Вера передаётся авторитетом улемов, устным преданием, ритуалом. Не прямым чтением текста. Это не слишком отличается от латыни в католической церкви до Лютера.

Бонапарт, слушавший не прерывая, задал вопрос.

— А сами улемы понимают классический текст?

— Самые учёные — да. Остальные тоже читают наизусть. Это цепь передачи, где каждое звено передаёт то, что получило, а не обязательно то, что понимает.

Денон записал это наблюдение в блокнот. Оно перекликалось с тем, что он видел в переулке у коранической школы после мятежа. Дети, читавшие фразы, смысла которых, вероятно, всё ещё не знали, но звук и ритм которых уже были в них формой знания. Он подумал о собственных рисунках. Пирамиды, скопированные прежде, чем поняты. Сфинкс, нарисованный в сумерках прежде, чем стала известна его астрономическая ориентация. Возможно, он работал именно так: сначала линия, потом смысл.

— То, что вы описываете, — заметил Фурье, обращаясь к Вантюру де Паради, — это система, где передача предшествует пониманию. Сначала текст заучивают наизусть, значение приходит потом. Или не приходит. Не похоже ли это на то, что делаем мы с иероглифами? Мы копируем знаки, которых не понимаем. Наши преемники, быть может, поймут их смысл.

— Разница, — сказал Вантюр де Паради, — в том, что у иероглифов больше нет живых носителей. У классического арабского они есть. Где-то между устным и письменным, между улемами и феллахами, между текстом и обрядом язык выживает. Он выживает иначе, чем был создан. Но выживает. Заседание закончилось поздно. Лампы почти догорели. Учёные вышли во двор Института, где декабрьский воздух наконец-то был свеж. Первый настоящий холод со времени их прибытия в Египет. Денон на мгновение задержался во дворе и поднял глаза. Звёзды над Каиром. Те же, что над Тулоном семь месяцев назад, но выше над горизонтом.

Бонапарт покинул Институт после заседания в сопровождении Бертолле. Какое-то время они шли по саду дворца молча. Затем Бонапарт заговорил:

— Монж как-то сказал мне, что наука ищет то, что истинно, независимо от того, что полезно. Вы в это верите?

Бертолле задумался. Это был вопрос, который он задавал себе всю свою профессиональную жизнь.

— Я думаю, что различие не столь отчётливо, как он утверждает. Наша работа здесь истинна. Измерения Жомара, химические анализы мумий, рисунки Денона. Но то, что мы здесь делаем, ещё и полезно — Франции, европейскому знанию о Египте, вам в политическом отношении. Истина и польза не исключают друг друга. Они идут вместе, редко в одном направлении, но вместе. Он помедлил, затем добавил:

— Единственное, что я отказываюсь утверждать, — будто то, что мы делаем, безобидно. Это неправда. И Монж знает это не хуже меня.

Бонапарт кивнул.

— Фурье сказал мне сегодня вечером, что его исследования тепла не имеют никакого немедленного военного применения. Похоже, он этим гордится.

— Фурье вправе этим гордиться. Через двадцать лет его исследования найдут применения, которых он пока не воображает. Такова наука. Она опережает применения на расстояние, которое нельзя измерить заранее.

— Как разведчик, который всё ещё не знает, для какой армии он обследует местность.

— Именно.

Они остановились у бассейна во дворе. Луна отражалась в неподвижной воде.

— Продолжайте работать, — сказал Бонапарт. — Всё, что вы здесь создаёте, переживёт экспедицию, что бы ни случилось. Это единственная уверенность, которая у меня сейчас есть.

Бертолле вернулся в свою лабораторию и возобновил анализы.

Он сказал Бонапарту одну фразу в тот вечер, перед уходом. Фразу почти без интонации, как наблюдение химика о цвете осадка.

— В Италии, в 1796 году, мы выбирали, что пойдёт в Лувр. Монж выбирал, я утверждал. У нас было время, списки, комиссары. Здесь у нас ничего этого нет. Уходить придётся второпях. Что окажется в ящиках к моменту отъезда, то и уедет. Остальное останется. Не будем обманывать себя.

Денон подумал об Италии. В 1796 году вывозила Франция. Здесь это могли оказаться не мы.

В три часа ночи Денон снова зажёл лампу и взял свой блокнот.

Он медленно листал страницы, не перечитывая их по-настоящему. Рисунки сменяли друг друга. Паруса флота на рейде Тулона, порт Валлетты с палубы «Юнонь», колонна Помпея в Александрии, спины солдат в пустыне, дым сражения, увиденный изнутри пехотного каре, пирамиды в сумерках с мёртвыми на переднем плане.

У него был и другой список, который он не записывал. Вещи, которые он делал, не отмечая их. Он рисовал памятники, которые нельзя будет увезти, видел, как солдат молча прячет в карман скарабея, видел, как феллах провожает взглядом свой *ушебти*, предпочтя не записывать эту фразу. Этот список был длиннее двухсот сорока трёх рисунков. У него не было конца.

Он остановился на первом наброске путешествия.

Это был Бонапарт. Правый профиль, освещённый утренним светом на тулонской набережной, за несколько минут до посадки. Денон нарисовал его быстро, так, что генерал не заметил. Около десятка штрихов углём. Тонкий профиль, высокий лоб, подбородок, выдвинутый вперёд, в позе человека, глядящего на то, чего ещё нет.

Он взял чистый лист и нарисовал Бонапарта по памяти. Таким, каким видел его в августе, на совете, последовавшем за известием об Абукире. Тот же профиль, те же основные черты. Но что-то изменилось, чему он не умел подобрать слов. Он искал это углём.

Не морщины. Семь месяцев не старят человека двадцати девяти лет. Не худоба. Бонапарт всегда был худ. Быть может, дело было в напряжении шеи. Или в том, как была стиснута челюсть. Человек из Тулона глядел на то, чего ещё не существовало. Человек после Абукира глядел на то, что он потерял.

Денон положил оба листа рядом на рабочий стол.

Рисунки были похожи. Торопливый наблюдатель не заметил бы разницы. Тот же профиль, та же поза, та же рука рисовальщика. Но, рассматривая их один за другим, нельзя было не увидеть, что первый принадлежал человеку, который уходил, а второй — человеку, который уже не знал, куда.

Впервые со времён Тулона он рисовал Бонапарта в его отсутствие. До сих пор его наброски генерала были документами. Поза командования, жест власти, историческая сцена, которую надо зафиксировать, пока она не прошла. Этот ночной набросок был чем-то иным. Портрет без согласия модели, без свидетелей, взятый скорее из памяти, чем из действительности.

Он вложил оба листа вместе в один и тот же блокнот, один за другим. Тулон, затем Абукир. То, что началось, и то, чем это стало.

Стоило ли что-нибудь то, что содержали эти блокноты? Вопрос казался ему теперь менее очевидным, чем в начале. В Тулоне, поднимаясь на борт «Юнонь», он с уверенностью знал, зачем он здесь. Чтобы запечатлеть историческую экспедицию, увидеть Египет прежде других европейцев, привезти во Францию образы ещё неизвестного мира. Эта программа была проста и ясна.

Семь месяцев спустя он видел всё иначе. Он видел нищету солдат в пустыне, жителей Александрии, смотревших на французскую армию с покорностью людей, перенёсших слишком много армий, чтобы это их трогало, восстание в Каире и его подавление. Он рисовал всё это с тем же вниманием, какое уделял пирамидам и барельефам. И теперь он спрашивал себя, не были ли его рисунки, помимо его воли, документами колониальной оккупации в той же мере, что и архивом научного открытия.

Он не разрешил этот вопрос в ту ночь. Его *«Путешествие по Нижнему и Верхнему Египту»* тоже не разрешит его.

Он закрыл блокнот, задул лампу и лёг в темноте. В окне звёзды над Каиром были теми же, что видел Геродот с берегов Нила, теми же, которыми пользовались фараоновские астрономы, чтобы ориентировать свои памятники, теми же, что наблюдали французские моряки во время плавания из Тулона. В этой неизменности было нечто утешительное. Не то чтобы всё было равноценно, но всё длилось, преображённое, неузнаваемое и всё же здесь. Египетское небо не различало. Оно освещало пирамиды и бивуаки с одинаковым безразличием. Денон закрыл глаза. Завтра он снова будет рисовать.

ГЛАВА II. ПОДЪЁМ ПО НИЛУ

I – Дендера

25 декабря 1798 года экспедиция Дезе покинула Каир, двинувшись на юг. Три тысячи солдат, чтобы отвоевать Верхний Египет. Денон участвовал в походе со своим блокнотом.

Бонапарт, оставшийся в Каире, накануне отъезда вызвал Дезе.

— Ваша миссия двойная. Военная: уничтожить Мурад-бея. Научная: дать учёным возможность исследовать Верхний Египет. Обращайтесь с ними как с сотрудниками. То, что они привезут, стоит не меньше ваших побед.

Дезе было тридцать лет, он обладал практическим умом и не имел особого вкуса к древностям. Но у него хватало ума понимать приказы.

— Я буду защищать этих людей как своих солдат. Но предупредите их: Мурад-бей не даст передышки. Месяцы, быть может, вплоть до Асуана. Учёным придётся это вынести.

Когда Дезе вышел, Бонапарт на мгновение задержал Денона. Он открыл ящик своего походного стола и достал сложенный документ. Список на четырёх страницах, который он показывал Денону перед Тулоном, с тех пор дополненный.

— Вот что должно вернуться. То, что Франция заслуживает привезти из этой экспедиции.

Денон пробежал первые строки. Категории, описания: переносные обелиски, фрагменты барельефов исключительного качества, документированные папирусы, царские скарабен, бронзы Позднего периода, мумии опознаваемых сановников. Каждая категория

сопровождалась пометкой об оценочной стоимости и местом назначения: Лувр, Национальная библиотека, Институт Франции.

— Мы поступали так же в Италии, — продолжил Бонапарт.

— Монж и Бертолле знают метод. То, что они привозят со своими формулярами, идёт в Лувр. То, что солдаты берут в свои ранцы, я не могу предотвратить. То, что вы документируете в своих блокнотах, остаётся во Франции в иной форме. Три уровня. Три различные легитимности.

— А если уровни смешаются?

— Они всегда смешиваются. Потому первый уровень и должен быть безупречным. Если Комиссия выполняет свою работу со всей строгостью, всё остальное по сравнению с ней становится терпимым. Такова логика всех государственных приобретений со времён Возрождения. Франция не грабит. Она отбирает, описывает и сохраняет. Грабят солдаты. Это различие реально, пусть и неудобно.

— А если кто-нибудь её оспорит?

— Никто не станет её оспаривать, пока мы выигрываем войну. Если мы её проиграем, вопрос будет стоять иначе.

Денон спрятал список в сумку. Это не был приказ о грабеже. Это был приказ об отборе. Различие было реальным. Ему хотелось бы, чтобы оно было достаточным. Он не был в этом уверен. Но Бонапарт уже открыл дверь кабинета. Его время было на счету. И Денон вышел, так и не высказав того, что хотел сказать.

Утром 25 декабря экспедиция двинулась на юг по западному берегу Нила. В этот час воздух был ещё холодным. Сухой холод, без тумана, египетский холод, который быстро уступает солнцу. Пыль, поднятая колоннами, была видна издалека. Артиллерия двигалась вдоль возделанных полей. Кавалерийские лошади ржали, чуя отправление. Феллахи,

стоя на плоских крышах домов, молча смотрели на проходившую колонну.

Денон ехал верхом рядом с Дезе.

— Эти храмы известны нам лишь по Пококу и Нордену. Приблизительные описания, неточные рисунки. Наконец-то мы создадим строгую документацию.

— Ваш пыл мне по душе. Но предупреждайте меня, когда захотите отойти от колонны. Мурад-бей по-прежнему не сложил оружия.

Денон кивнул, не скрывая некоторого смирения.

— Понял, генерал. Торопливые рисунки лучше неведения.

Жара нарастала уже ко второму часу, несмотря на январь. Зелёная полоса вдоль реки была шириной в несколько сотен метров, а за ней начиналась пустыня, внезапная и безраздельная. Солдаты шли молча, с флягой в руке. Денон рисовал на ходу — беглые наброски, силуэты деревень, пальму, профиль известняковой скалы — не останавливаясь, не сбиваясь с шага. Мамелюки донимали колонну набегами и исчезали, ни разу не дав решительного сражения. Близ Бени-Хасана он осмотрел гробницы, высеченные в известняковой скале над Нилом и украшенные настенными росписями со сценами борьбы, охоты и повседневной жизни.

Краски сохранились. Красная охра, синева египетской фритты, зелень малахита, жёлтый аурипигмент. Пустыня высушила вокруг них воздух. Он подумал о парижских картинах, потемневших от лаков, угасших за века сырости.

Он зарисовал несколько таких сцен за те немногие часы, что Дезе ему уделил перед тем, как двинуться дальше. Его наброски получались быстро. Он научился схватывать главное за десять минут: формальную гиратичность, живость повествования.

Так он переходил из одной гробницы в другую, пока колонна устраивала бивак.

Денон ни разу не пожаловался. Он рисовал на ходу, рисовал во время привалов, рисовал при свете факелов в военных палатках по вечерам. Его физическая выносливость изумляла офицеров, которые поначалу считали его присутствие обузой.

— Ваш учёный держится лучше моих новобранцев, — сказал однажды Дезе одному из своих адъютантов, указывая на Денона, сидевшего на камне во время привала.

— Это потому, что ему есть чем заняться, — ответил адъютант. — Люди, у которых есть причина смотреть по сторонам, выживают лучше других.

20 января Жомар первым увидел Дендеру. Храм богини Хатхор стоял среди возделанных полей, и его громада была видна издалека в сухом воздухе Верхнего Египта.

— Смотрите, — сказал Денон, остановившийся позади него. Дезе приказал сделать привал. Армия разбила лагерь в соседней деревне Кена. Феллахи смотрели с порогов своих домов, не приближаясь. Они видели, как проходили другие колонны. Эта везла людей с измерительными приборами и тетрадами. Это не успокаивало.

Жомар вошёл первым. На пороге он принялся считать: двадцать четыре колонны высотой около пятнадцати метров, их капители с ликом Хатхор смотрели на четыре стороны. Он достал теодолит из футляра, а затем убрал обратно. С чего начать? За свои восемь месяцев в Школе он всегда знал, с чего начинать. Здесь же зал обладал логикой, выходившей за пределы того, что его приборы могли охватить одним взглядом. Слишком велико. Слишком цельно. Нужно было выбрать точку входа, и этот выбор вдруг показался ему произвольным — так, как не бывало прежде перед

пирамидой или отдельной колонной. В конце концов он навёл прибор на ближайшую колонну. Это было по крайней мере начало.

— Это необыкновенно, — пробормотал за его спиной Денон. — Тонкость этих драпировок.

Жомар измерял в течение пяти дней. Пятнадцать метров на колонну, швы столь тонкие, что в них едва проходило лезвие ножа. Потолок выше пятнадцати метров. Стены, покрытые барельефами. Он записывал размеры, углы, ориентации. Денон рисовал на другом конце зала, и его руки, покрытые угольной пылью, почти ни на миг не останавливались.

— Как они сделали это без наших современных инструментов? — тихо добавил Жомар.

— Со временем, рабочей силой и организацией, способной поддерживать неослабное усилие десятилетиями. Этот храм строился поколениями. Они передавали замысел от отца к сыну как священное наследство.

— Египтяне знали звёзды лучше, чем мы знаем их до сих пор, — добавил Жомар, указывая на созвездия, нарисованные насыщенной синей краской на охристом фоне потолка. — Этот свод — карта ночного неба Древнего Египта.

На второй день Жомар заметил одну деталь, которую не записал. Он занёс её в свой личный дневник вечером, в палатке.

Трое солдат из головного батальона провели вторую половину дня в боковых залах храма. Они не были на службе. Когда они возвращались, один из них нёс в руке фигурку из голубого фаянса. Сидящая кошка с острыми ушами и глазами, инкрустированными чёрным стеклом. Он показывал её товарищам. Они смеялись.

Жомар проводил их взглядом. Фаянсовой кошке было две или три тысячи лет. Её положили в храме как вотивный дар; сделал это ремесленник, чьё имя не сохранилось, ради молитвы, о содержании которой давно забыли. Через три года она окажется в Марселе. Цепочка была короткой. Она не оставляла следов. Жомар подумал о силе тяжести: лёгкие предметы всегда падают вниз. Здесь низом был север.

В тот же день, в большом дворе храма, трудился Костаз.

Утром он отобрал шесть предметов по категориям списка Бонапарта. Два скарабея, золотой амулет, фигурка Сехмет — всё в точном соответствии с критериями списка. Но два предмета выделялись из прочих. Писцовая палетка из сикоморового дерева, с калями, всё ещё лежавшими в тростниковых футлярах. Дерево почти никогда не сохраняется, так что это была редчайшая вещь. И канопа из алебаstra с целой крышкой в виде головы сокола, изображающая Кебхсенуфа, хранителя кишпок. Шесть предметов, выстроенных на камне, пронумерованных, снабжённых бирками.

Жомар подошёл от входа во двор. Костаз заполнял свой бланк при свете дня, не спеша, не таясь. В этом и было всё отличие от того, что делали солдаты: в бланке.

— Гражданин Костаз, — сказал Жомар, подходя. — Эти предметы исключительны.

— В самом деле. Писцовая палетка уникальна среди известной документации о недавних экспедициях. Калямы целы. Чрезвычайно редкая находка. Сикоморовое дерево устояло потому, что было завернуто в льняную ткань, которую я нашёл в боковом отделении ниши. Две тысячи пятьсот лет сохранности в идеальных условиях.

Он продолжал писать, не поднимая глаз. Почерк был почерком учёного: точный, сокращённый, без украшений.

— Канопа заинтересует химиков для анализа смол, применявшихся при мумификации, — продолжил он. — Я взял фрагмент внутреннего слоя смолы. Номер этой пробы вы найдёте под шифром сто четырнадцать-В в реестре Комиссии.

Он вписал шестой номер в бланк, расписался, оторвал корешок и протянул его Жомару.

— Опись Комиссии, раздел официальных приобретений. Если хотите копию для вашего собственного дела по секции. Жомар взял бумагу. Взглянул на неё. Форма была безупречной. Он убрал её в свою сумку, ничего не ответив.

Один человек из деревни пришёл посмотреть, как Жомар делает свои измерения. Переводчик Хасан остался в стороне. Человек понаблюдал несколько мгновений и ушёл. Эта встреча была недолгой.

На следующий день человек вернулся, сел у колонны и два часа, не говоря ни слова, смотрел, как работает Жомар. Потом ушёл. Ещё через день он принёс кое-что: небольшой глиняный горшок, полный свежей воды. Он поставил его рядом с приборами Жомара.

Жомар выпил. Вода была холодной, чуть минеральной. Он сказал спасибо по-арабски. Одно из немногих слов, которые он выучил. При посредстве Хасана они обменялись несколькими фразами.

Человек знал названия колонн. Не греческие имена, которыми пользовались учёные — Хатхор, Нут, Исида, — а арабские названия, передававшиеся от отца к сыну на протяжении поколений. Колонна северо-восточного угла называлась в деревне «колонной, что кровоточит в разлив», потому что трещина в известняке иногда пропускала красноватую, насыщенную железом воду во время разливов Нила. Центральная колонна называлась «колонной голоса», потому что, если ударить по ней раскрытой ладонью на

определённой высоте, она издавала низкий звук, разносившийся по всему залу.

Жомар записал оба названия. Он знал, что в «*Описании*» их не будет. У них не было измеримой ценности. Но они говорили о том, о чём не говорили его собственные измерения: что этот храм давно и непрерывно присутствовал в памяти деревни. Это были не руины. Это был сосед.

Три дня спустя Денон вернулся в храм один, со свечой и своими тетрадами. Он хотел зарисовать зодиак верхней часовни.

Часовня Осириса находилась на крыше храма. Небольшой зал, куда вела наружная лестница. Потолок был низким. Свеча отбрасывала оранжевый свет, которого не хватало. Он лёг на холодный камень. Над ним, вырезанная в песчанике, была карта неба. Круглый диск диаметром два с половиной метра. В центре — приполярные созвездия. Большая Медведица в виде передней ноги быка, богиня-гиппопотам, потрясающая гарпуном. По окружности — двенадцать знаков греческого зодиака, смешанных с египетской иконографией: Овен, Телец, но также и Водолей, изображённый как Хапи, бог разлива, держащий два сосуда, из которых лился Нил.

Этот потолок нельзя было унести целиком. Несколько тонн песчаника, вмурованных в свод. Но Денон за два дня до того поставил вопрос перед капитаном Кутелем, начальником аэростатчиков экспедиции, тем самым, что поднял наблюдательный шар при Флёрюсе. Кутель был самым изобретательным инженером армии. Он приходил осмотреть зодиак накануне, глядя на него глазами скорее техника, чем художника.

— Это осуществимо, — сказал он, осматривая швы. — Но не с тем, что у нас есть. Понадобятся пилы с зубьями из закалённой стали, винтовые домкраты, негашёная известь,

подъёмные леса высотой в двадцать метров. Шесть недель работы как минимум, с двадцатью рабочими. И специально оборудованное судно для перевозки блока. Несколько тонн — обычные трюмы не годятся.

— Стоил бы результат таких усилий?

Кутель снова посмотрел на зодиак, его глаза пробежали по диску от созвездия к созвездию.

— Это самое полное изображение древнего неба, какое я когда-либо видел. Да, оно стоит усилий. Но не сейчас. Может быть, через тридцать лет, если кто-нибудь вернётся с оборудованием и временем.

Денон записал этот разговор в меморандуме, адресованном научному штабу. Первый официальный документ, где упоминалась возможность извлечения дендерского зодиака. Этот меморандум отправится в Каир, будет лежать в ящике, ожидая средств, которых у армии не было.

Он рисовал два часа, лёжа на спине. Его свеча погасла. Он зажёл другую. Когда он спустился, наступала ночь, и солдаты уже час как теряли терпение.

— Вы получили, что хотели? — спросил его младший лейтенант.

— Первый рисунок. Неточный. Для серьёзной съёмки потребуется несколько человек.

Денон просил научный штаб прислать инженеров, чтобы завершить его работу. Двое молодых политехников, Жолуа и Девилье, приедут через три недели после него, чтобы закончить съёмку своими точными приборами.

На второй вечер Жомару понадобилось уладить вопрос о реквизиции пайков. Он отправился искать сержант-майора Обера, человека, ведавшего интендантством батальона Дезе. Он нашёл его в палатке в стороне от основного бивака: тот сидел за небольшим столом с фонарём и тетрадью.

Обер держал список, разделённый на три колонки: предмет, рота, солдат. Строчки шли плотно. Жомар прочёл издалека, делая вид, что не смотрит: «Фигурка из голубого камня, 2-я рота, Расин. Фрагмент барельефа, 3-я рота, Дюплесси. Фаянсовый скарабей, 1-я рота, Марен. Расписной глиняный горшок, 4-я рота, Лефевр». Строк было не меньше двадцати. Обер поднял глаза. Казалось, он не удивился тому, что за ним наблюдают.

— Гражданин учёный. Могу я что-нибудь для вас сделать?

— Я искал дополнительные пайки для рабочих нарядов на измерениях. Это не срочно.

Жомар не задал вопросов о списке. Он уже знал, что это. Неофициальная опись. Ни приказанная, ни запрещённая никем, она велась унтер-офицером, который понял, что в его батальоне что-то ходит по рукам, и решил об этом знать. Список не был дисциплинарным контролем. Это была предосторожность. Если бы кто-нибудь позднее стал задавать вопросы, Обер сумел бы ответить. А если бы никто вопросов не задал — что было вероятнее — список остался бы в его тетради, документом без адресата.

Он уладил дело с пайками тремя фразами и ушёл.

В ночь перед отправлением Жомар не работал над своими измерениями. Он занялся чем-то другим.

Он начал с того, что знал наверняка. В списке сержант-майора Обера числилось по одной только 2-й роте двадцать три предмета за два дня. Четыре роты в батальоне Дезе. Два пехотных батальона, сменявшихся на месте. Плюс офицеры, которые брали иначе. С большей разборчивостью, меньшим количеством, но вещи большей ценности. Плюс официальные приобретения Костаза. Шесть задокументированных предметов, другие, возможно, без формальной документации.

Он составил оценку. Консервативную: двадцать предметов на роту в день привала. Четыре роты. Пять дней. Два батальона. Итог: не менее восьмисот предметов только с этого храма. Если добавить покупки у торговцев и то, что офицеры собирали втихомолку, получалось больше тысячи. Тысяча предметов, покидающих Дендеру. Он всмотрелся в эту цифру. Потом посмотрел на храм, видневшийся в темноте в двухстах метрах от бивака. Храм был огромен. Тысяча предметов была лишь долей того, что он ещё содержал. Но правильный подсчёт был таким: сколько привалов в скольких храмах, умноженное на тысячу.

Между Дендерой и Асуаном было не меньше двенадцати крупных памятников. Внизу страницы он написал: «Общая оценка по всей кампании: порядок величины десять тысяч предметов. Нижняя граница. Проверке не поддаётся».

Затем он задержался на только что написанном. Десять тысяч. Цифра казалась отвлечённой. Она не была таковой. Она соответствовала десяти тысячам предметов, которые веками находились в египетском храме или гробнице и которых там не будет через полгода.

Навьючивая мулов, он искал глазами солдата, державшего в руке фаянсовую кошку. Среди сотен лиц он его не нашёл. Человек существовал. Кошка существовала. Где-то внутри этой цифры в десять тысяч.

Перед отъездом из Дендеры Жомар пошёл к Костазу.

Костаз наблюдал за заколачиванием своих ящиков. Он поднял глаза.

— Гражданин Костаз. Я сделал оценку общего объёма изъятий с этого храма.

Он протянул ему блокнот, раскрытый на странице с расчётом. Костаз прочёл. Он потратил время на проверку допущений и мысленно пересчитал арифметику.

— Ваша нижняя граница разумна, — сказал он наконец. — Для офицеров слегка занижена.

— Вы не находите эту цифру проблематичной?

Костаз вернул ему блокнот.

— Я нахожу эту цифру верной или близкой к действительности. Проблематичной для кого? Для Комиссии? Нет. Наши приобретения задокументированы. Для армии? Судить об этом предстоит Дезе. Для истории этого храма? Безусловно. Но история этого храма знала изъятия со времён римлян и греков. Мы не первые. И Египет пережил всех предшественников.

— Это не довод.

— Нет. Это не довод. Но это контекст. И в этом контексте нужно установить, оправдано ли то, что делаем мы — Комиссия. Я думаю, что да. Что до остального, я не полицейский и не судья.

— Вы математик. Математик не говорит, что расчёт оправдан. Он говорит, верен ли он.

— А наши расчёты верны, — ответил Костаз, не поднимая глаз. — Архивы, описания, предметы для Лувра.

— Именно этого просил Бонапарт. Я бы просил не этого.

На пятый и последний день Дезе подал знак выступать. Жомар убрал теодолит. Денон с искренним сожалением оторвал глаза от потолка.

— Если мы когда-нибудь вернёмся в эту страну в мирное время, — добавил Жомар, — этот храм заслуживает шестимесячного исследования сам по себе.

Они не вернутся. Их рисунки останутся.

Дорога к Фивам два дня тянулась вдоль Нила. Вечером, на биваке, офицеры начинали говорить о храмах, которые им предстояло увидеть. Карнак. Луксор. Названия переходили

из уст в уста с тем возбуждением, с каким приближаются к тому, чего никогда не видели, но о чём слышали всю жизнь.

II – Фивы

Вечером 27 января экспедиция разбила лагерь напротив руин Фив.

Жомар остановился на берегу и стоял там, ничего не делая, глядя на чёрные пилоны в закатном свете по ту сторону Нила.

Карнак превосходил всё, что они могли вообразить. Гипостильный зал храма Амона-Ра: сто тридцать четыре колонны, двенадцать центральных высотой в двадцать один метр. Он переступил порог и замер на несколько минут. Площадь этого зала составляла около пяти тысяч двухсот квадратных метров — одно из самых больших крытых пространств Античности.

— Боже мой, — пробормотал Денон. — Никакое описание не может отдать этому должное. Нужно быть здесь, чтобы понять.

В ночь после первого дня в Карнаке Жомар расположился во дворе храма с фонарём и начал приводить в порядок цифры. Зал был велик не потому, что фараон хотел показать свою мощь. Он был велик потому, что имел назначение: вмещать процессию, толпу, ритуал. Каждый размер отвечал требованию акустическому, световому, литургическому. Египтяне не строили впустую. Они строили точно.

Он записал: «Правильность пропорций в этом зале наводит на мысль о системе мер, передаваемой на протяжении нескольких поколений с абсолютной точностью. Длина зала примерно вдвое больше ширины. Расстояние между центральными колоннами соответствует их диаметру. Эти соотношения не случайны».

Снаружи где-то в пустыне залаял шакал. Жомар поднял глаза. Звёзды над колоннами были очень яркими.

И вдруг, поворачиваясь с теодолитом, чтобы записать азимут опорной звезды, он понял то, что не собирался понимать. Понимание пришло не как завершающееся доказательство. Оно пришло разом, в теле раньше, чем в уме. Физическая уверенность, почти головокружение, как бывает, когда долгий расчёт приводит к круглому числу и ты знаешь, ещё не проверив, что он верен.

Главная ось храма — ось, соединяющая вход с самым внутренним святилищем, — была ориентирована под углом в двадцать шесть градусов к югу от востока. Он проверил расчёт дважды. Двадцать шесть градусов. Эта цифра была в его замерах с самого утра, записанная машинально, как одна из многих величин. Но теперь, в темноте, со звёздами, видневшимися над ним, он понял, что она означает.

Это был азимут восхода солнца в день зимнего солнцестояния на широте Фив.

Он несколько секунд оставался неподвижным с этим знанием. Он держал в руках результат, который никто ещё не формулировал таким образом, и хотел убедиться, что он реален, прежде чем записать его.

Карнак был не просто храмом. Это был астрономический инструмент, ориентированный так, чтобы утром самого короткого дня года свет восходящего солнца входил в святилище и проходил по оси до большого гипостильного зала. Постройка обладала такой точностью. Египтяне это рассчитали. Они строили сообразно расчёту.

Он лихорадочно написал в дневнике записку на несколько страниц, подробно излагая расчёт, измерения, вывод. Он отправит эту записку Фурье уже на следующий день с почтой. Фурье был самым строгим математиком Комиссии,

он сумеет проверить. Ответ Фурье придёт три недели спустя, в двух строках: «Ваш расчёт верен. Занесите его в „Описание“». В два часа ночи Жомар вернулся в лагерь. Прошло пять часов с тех пор, как он покинул свою палатку. Его руки слегка дрожали, пока он сворачивал листы тетради. Не от холода, а от чего-то, для чего у него не было слова. Он привык к открытиям, подтверждающим гипотезу. В эту ночь с ним случилось нечто иное: гипотеза, родившаяся из самого открытия, хотя он её и не искал. Раньше с ним такого никогда не бывало.

Денон посвятил следующие дни обходу комплекса Карнака, по десять часов в день, зная, что времени у него в обрез. Сорокаметровые пилоны были покрыты барельефами с фараонскими битвами. Обелиски из розового гранита стояли строго отвесно, монолиты, доставленные из Асуана, за двести километров к югу. Один из них, воздвигнутый царицей-фараоном Хатшепсут из восемнадцатой династии, поднимался на двадцать девять с половиной метров. Его грани покрывали вертикальные столбцы тонко вырезанных иероглифов, не поддающихся прочтению.

Все видели надписи повсюду — на колоннах, стенах, саркофагах — и не могли прочесть ни строки. Вся история Египта была здесь, немая.

В большом дворе Карнака Жоффруа Сент-Илер расположился перед рядом барельефов, изображавших животных, подносимых в качестве дани. Лев, жираф, обезьяны, антилопы. Он копировал виды с точностью натуралиста, отмечая те, что в Египте больше не водились. Каждое исчезнувшее животное было сведением об изменении климата со времён Античности. То, что другие читали как украшение, он читал как перечень фауны.

— У этого льва на барельефе, — сказал он проходившему мимо Жолуа, — череп не такой, как у льва из Африки южнее Сахары. Профиль более плоский, грива длиннее. Либо художник ошибся, либо львы Древнего Египта составляли отдельную популяцию. Я склоняюсь ко второму. Жолуа посмотрел на барельеф, посмотрел на Жоффруа, кивнул и пошёл дальше. Жоффруа не нуждался в ответе. У него был вопрос.

Позже ночью Жомар работал над своими замерами Карнака, когда слышал шум.

Не шум боя. Шум работы. Глухие размеренные удары, скрежет чего-то тяжёлого по плитам. Он взял фонарь.

В зале трое солдат работали при свете двух факелов. Они опустошили нишу с обломками статуй — головами божеств, руками, бюстами — и сортировали их на плитах: те, что стоило нести, в одну сторону, слишком тяжёлые — в другую. Один из них держал обеими руками голову сокола из чёрного гранита, вероятно Гора, с глазами, инкрустированными тёмным материалом, какой при свете факела не удавалось определить. Он вертел её, пытаясь прикинуть вес.

Жомар остался у входа в зал. Он мог бы вмешаться. Власть члена Комиссии позволяла ему запретить несанкционированные изъятия. Он этого не сделал. Солдат было трое. В батальонах Дезе их было две тысячи. То, чего не мог остановить один человек с фонарём, не стоило пытаться остановить из принципа.

На следующий день во дворе, на севере комплекса, Жолуа сделал открытие. Обломки барельефов двенадцатой династии, разбросанные среди развалин, обнаруживали совершенно иной стиль: мельче, интимнее, фигура царя менее иератична и более человечна. На лице одного из этих

царей читалась усталость, какой ни один фараон великих династий не потерял бы на своих памятниках.

— Этот барельеф, пожалуй, самое психологически верное изображение фараона из всех, что я видел, — сказал Жолуа Денону, который рисовал уже час. — Посмотрите на глаза. Здесь есть усталость. Усталость власти, а не её великолепие. Денон перестал рисовать. Жолуа был прав. Это лицо не смотрело в вечность.

После трёх дней в Карнаке экспедиция переместилась в Луксор, в трёх километрах к югу. Храм Аменхотепа III и Рамсеса II. Аллея сфинксов, соединявшая два храма, была погребена под песком и домами выросшей на ней деревни.

Денон зарисовал большую колоннаду, что вела от входного двора к внутреннему святилищу. Четырнадцать папирусовидных колонн высотой девятнадцать метров, с формальным изяществом, свидетельствовавшим об эстетической утончённости восемнадцатой династии. На стенах были барельефы процессии Опет: статуя Амона, ежегодно переправляемая на барке из Карнака в Луксор. Он перерисовал сцену на нескольких листах.

Другие барельефы изображали битву при Кадеше между Рамсесом II и хеттами на входном пилоне. Шестдесят метров в длину, они были покрыты от земли до высоты десяти метров сценами, вырезанными с поразительной динамикой. Этот рельеф повествовал о битве со спорным исходом. Рамсес едва не оказался в окружении, прежде чем сумел прорваться. Но луксорский пилон показывал лишь триумф. Фараонская пропаганда действовала именно так: высекать официальную версию в камне, на такой высоте, где никто не мог исправить факты.

Перед пилоном стояли два обелиска. Те самые, один из которых Мухаммед Али подарит Франции в 1830 году. Этот обелиск доплывёт до Парижа в 1833 году на специально

построенном судне и будет установлен на площади Согласия в 1836 году. Денон смотрел на него в 1799 году, не зная, что тот окажется там. Он записал его размеры, надписи, картуши, повторявшиеся на всех четырёх гранях.

Дезе зашёл взглянуть на обелиски однажды днём. Он поднял глаза к вершине первого, в двадцати пяти метрах над ним, затем перевёл взгляд на Денона, рисовавшего рядом.

— Эти вертикальные колонны — их можно взять?

— Это обелиски. Гранитные. Около двухсот тридцати тонн каждый.

— С рекой вниз и рычагами египтяне ведь справились.

— Три тысячи лет назад. И спускали их с юга на север по разливу. Чтобы доставить их во Францию, пришлось бы грузить их на специально построенное судно. Ничто из того, что есть у нас в Средиземном море, на это не способно.

Дезе ещё раз взглянул на обелиск.

— Кто-нибудь найдёт способ. Но не сразу.

Он вернулся к своему штабу.

В боковых залах луксорского храма, там, где грабители поработали задолго до них, Денон нашёл то, что оставили торопливые кладонскатели: обломки бронзовых статуэток, ступни, руки, целое лицо Осириса из позолоченной бронзы высотой пятнадцать сантиметров. Лицо хранило безмятежность, свойственную бронзам Позднего периода. Миндалевидные, слегка наклонённые глаза, тонкий рот, плетёная накладная борода. Металл был отлит по выплавляемой модели, затем обработан резцом. Брови и контуры глаз были инкрустированы тонким золотом, зрачки из чёрного стекла.

Бронзы этого типа изготавливались сериями начиная с седьмого века до нашей эры. Тысячи вотивных фигурок, приносимых верующими в храмы в обмен на божественное

покровительство. Эти предметы никогда не принадлежали отдельному человеку: они были дарами богу, собственностью храма. Опустошив кладовые, грабители взяли достояние Амона, а не человека. Эта деталь не упрощала проблему собственности. Она её усложняла. Бог не мог предъявить требований.

Денон поднял лицо Осириса, перевернул его. На обороте была строка иероглифов, вырезанных резцом, вероятно, имя дарителя. Он скопировал знаки. Затем убрал вещь в сумку. При этом он подумал о списке Бонапарта. Лицо Осириса из позолоченной бронзы, несомненно, было вещью самой первой категории. Ему следовало сообщить о нём Бертолле или Монжу для включения в официальные коллекции. Он этого не сделал. Граница между тем, что он брал для Комиссии, и тем, что брал для себя, постепенно стёрлась со времён Дендеры. Около тридцати записей в его личной описи. Столько же предметов, которых полгода назад ещё не существовало в реестре европейских ценностей.

Это было не то же самое, что красть. Он был почти уверен в этом.

Тем вечером Жомар ещё час стоял перед фасадом храма. Этот храм строился две тысячи лет, и каждый фараон добавлял пилон, аллею, зал. Две тысячи лет непрерывного строительства, без разрыва стиля, без пересмотра замысла. Египет совершил то, чего Европа так и не сумела: передачу архитектурного замысла через поколения, так что никто не репал, когда ему конец.

А теперь солдаты уносили куски этого замысла в своих мешках. Не ради разрушения. Они не были вандалами по умыслу. Но результат был тот же. Фрагменты, уходившие в Париж или в частные коллекции офицеров, больше не принадлежали этой цельной системе. Они становились обособленными предметами, диковинками, сувенирами.

Жомар записал перед уходом: «Карнак — это система. Каждый элемент занимает своё место в целом. Перемещение элемента не разрушает Карнак, но разрушает этот элемент как часть системы. В другом месте он станет чем-то иным — предметом, экспонатом коллекции — и перестанет быть здесь чем-то определённым».

Выходя из Луксора тем вечером, Денон заметил пожилого человека, сидевшего у входа в храм. Он был в белой галабее и смотрел на солдат, уносивших блоки во дворе. Он не выглядел рассерженным. Это было лицо человека, который смотрит на то, что уже видел прежде.

Денон остановился. Хасан окликнул старика. Они обменялись несколькими словами.

— Он говорит, что его отец был сторожем этого храма. И дед. И прадед. Он не знает, сколько поколений. Он говорит, что приходили османы. Приходили мамелюки. Теперь здесь французы. Каждый раз они берут камни.

Денон попросил Хасана перевести ответ: что французы пришли учиться, а не разрушать. Хасан перевёл. Старик возразил, что османы тоже говорили, будто пришли по другим причинам. И всё равно брали.

Денону нечего было ответить. Он нарисовал старика со спины. Белая галабея, гранитный блок, солдаты во дворе позади него.

Чего Денон не видел за этой сценой, так это того, чем занимался Хасан после официальных рабочих часов.

Хасан был официальным переводчиком Комиссии. Египтянин из Каира, понявший, что его положение даёт ему особый доступ к обоим мирам. Он переводил вопросы учёных фелахам. Чего он переводил не всегда, так это того, что фелахи говорили между собой о том, чего учёные на самом деле хотят.

Жомар понял это после первой недели. Хасан был заинтересованным посредником, который облегчал покупки учёных у местных торговцев и брал комиссию. Жомар оценивал её в пятнадцать процентов. Ни продавцы, ни покупатели не знали, что находятся на разных концах цепи, центральным звеном которой был Хасан.

Однажды ночью в Карнаке Жомар встал и пошёл за Хасаном на расстоянии. Тот пересёк главный бивак к участку, где размещались старшие офицеры, остановился перед палаткой, вполголоса обменялся несколькими словами со слугой. Тот вошёл в палатку и вышел с двумя офицерами, полковником и штабным капитаном. Хасан раскрыл холщовый мешок. При свете масляной лампы он разложил на сложенном ковре четыре предмета. Красивее тех, что он показывал днём унтер-офицерам. Царский скарабей из лазурита, редкий и тяжёлый. Чаша из полупрозрачного алебаstra. Статуэтка Птаха из синей фаянсовой массы, десять сантиметров. Амулет из цельного золота, изображающий сидящую Бастет.

Офицеры осмотрели вещи. Полковник торговался. Хасан уступил в цене с лёгкостью, показывавшей, что он с самого начала заложил наценку. Четыре вещи перешли из рук в руки. Хасан убрал деньги, не пересчитывая.

Жомар вернулся в лагерь незамеченным. Утром он спросил Хасана напрямую, без обиняков.

— Я видел, — сказал Жомар. — Ночную сделку с офицерами.

Хасан кивнул без смущения.

— Откуда эти вещи?

— От человека из Курны, который ночью переправился через Нил. Он знает гробницы, куда французы до сих пор не заглядывали. Он продаёт то, что находит, уже много лет.

— А комиссия, которую вы берёте?

— Десять процентов с цены продажи. Офицеры платят больше, чем солдаты. Офицеры штаба платят больше, чем строевые. Это логично.

— А с того, что вы продаёте учёным днём?

— Пятнадцать процентов. Объём возмещает цену. Я облегчаю сделки между теми, кто хочет продать, и теми, кто хочет купить. Грабёж начался до меня и продолжится после меня. Я не копаю гробниц. Я не ломаю стен. Я перевожу цены.

Хасан ушёл. Он сказал то, что хотел сказать. Правда была проста: он был из Каира, сын переписчика при шариатском суде, грамотный по-арабски и достаточно по-французски, чтобы работать на этих людей. Он взялся за эту работу, потому что она хорошо оплачивалась и потому что французы никогда не задерживались. Армии проходили. Храмы оставались.

Чего Хасан не сказал Жомару, так это того, что двумя днями раньше он вошёл в большой зал храма Карнака один, на заре, прежде чем учёные встали.

Он никогда не видел Карнака до этой экспедиции. Его предки не строили всего этого. Ключа к этим иероглифам у него было не больше, чем у Денона. Но никто не требовал от него их расшифровывать. От него требовали переводить цены.

III – Долина царей

30 января Жомар первым переправился через Нил на западный берег. Он попросил выступить до рассвета, чтобы побыть на месте одному, пока армия не пришла в движение.

Фиванский некрополь тянулся на несколько километров по гористой пустыне. Жомар знал его по рассказам Покока и Нордена, но эти описания не подготовили его картографический глаз к действительности: известняковая

долина, вырубленная в скале, в пяти километрах от реки, где каждое отверстие в породе отмечало вход в гробницу. Десятки видимых отверстий. Наверняка были и другие, скрытые под песком.

Он взобрался на скальный уступ, возвышавшийся над входом в долину. Оттуда он видел всё: отверстия гробниц в скале, карьерные тропы, следы древней человеческой разработки этой породы. Фараоны отказались от пирамид ради гробниц, высеченных здесь, предположительно более неприметных. Грабители всё равно их нашли. Почти все были опустошены ещё в древности. Жомар измерял то, что никто не смог украсть.

Он применял то, что называл «полевой триангуляцией».

Из центральной точки последовательно визировать теодолитом все различимые ориентиры, записывать углы, вычислять расстояния от базы, измеренной на земле. В то утро он работал с рассвета без перерыва. Около семи часов к нему поднялся солдат, принёсший паёк. Жомар поблагодарил его. Жолуа работал иначе. Там, где Жомар искал углы и расстояния, Жолуа искал соотношения. Что одна величина говорила о другой, что пропорция открывала о замысле. В его тетрадах не было столбцов цифр, как у Жомара. В них были наброски с пометками, пропорции, выраженные дробями, сопоставления между памятниками. Два инженера, учившиеся в одной школе, смотрели на одни и те же камни разными глазами.

Чего Жомар не видел со своего уступа, так это того, что делали проводники из Курны после того, как провели их в гробницы.

Фелахи Курны знали каждый вход в Долину царей на протяжении поколений. Их деревня была построена на самих гробницах. Дома стояли на гипогеях, дети росли над покойниками минувших династий. Они негласно разрабатывали гробницы веками, продавая вещи торговцам

из Каира и редким европейским путешественникам, осмеливавшимся забраться так далеко. Торговля была скромной, непрерывной, уравновешенной риском привлечь внимание османских властей.

Приход французов нарушил это равновесие.

Учёные хотели увидеть всё и сразу. Они требовали проводников к гробницам, которых никогда не нашли бы сами. Ведя Денон и Жоуа, люди Курны открывали входы, которые они остерегались показывать властям. После прохода французов гробницы оказывались «открытыми», известными, нанесёнными на карты. Скрытность, которую грабители хранили веками, исчезала за несколько дней.

— Мы создаём собственный рынок, — сказал Жоуа. — Приходя сюда с армией и тетрадами, мы значительно ускоряем грабёж, который застаём по прибытии.

— Грабим не мы, — сказал Денон.

— Нет. Не мы. Но именно мы создаём условия, чтобы это происходило в десять раз быстрее.

Денон и Жоуа спустились в гробницы с проводниками. Коридор уходил вниз крутым склоном, настолько узкий, что местами приходилось ползти, упираясь локтями в известняковую пыль. Факел отбрасывал на тёсаную скалу подвижные тени. Воздух становился холоднее, потом тяжелее, потом неподвижным. Воздух, не двигавшийся веками и, казалось, сопротивлявшийся входу. Они вышли в переднюю камеру со стенами, покрытыми росписями поразительной свежести.

Жоуа угадывал сцены, которые позже назовут Книгой Амдуат и Книгой Врат. Он читал Кирхера до отъезда. Каждый час ночи соответствовал испытанию, каждое испытание — богу-стражу. Он рисовал, не понимая. Он отмечал соответствия на полях своих замеров.

— Эти росписи великолепны, а я их не понимаю, — сказал Жолуа, ставя лампу. — Анубис с головой шакала, это я узнаю. Исида с распростёртыми крыльями. Но остальное — эти ритуальные жесты, эти символы — энциклопедия, ключа к которой у нас нет.

Они осмотрели семь гробниц за два дня. Самой впечатляющей была гробница Рамсеса III, которую Брюс посетил тридцатью годами раньше: длинные коридоры, уходящие глубоко под землю. Каждый зал соответствовал часу ночного путешествия солнца в загробном мире. Архитектор задумал пространство как погребальный календарь.

Росписи этой гробницы остановили Денона как вкопанного. Он видел фрески Сикстинской капеллы, Рафаэля в Италии. Эти росписи им не уступали. Они были иными. Линейное изящество, уверенность штриха, палитра из шести цветов, создававшая впечатление всего.

— Эти росписи равны лучшим фрескам, какие мы видели в Европе, или превосходят их, — сказал Жолуа. — И штрих увереннее, чем у многого из того, что вешают в Париже.

В погребальной камере ещё стоял саркофаг из красного гранита, украшенный религиозными сценами. Слишком тяжёлый для древних грабителей.

— Точность иероглифов, — сказал Денон, не отрывая глаз от саркофага. — Каждый знак вырезан как ювелиром. Они знали, что это будет последний предмет, который мертвец увидит перед вечностью.

— У этих египтян было подлинно сложное представление о смерти. Смерть была не концом, а путешествием, чередой испытаний. Это теология не менее разработанная, чем любая европейская.

— То, чего мы не понимаем теперь, — ответил Жолуа, — другие поймут позже. Наши копии тогда станут драгоценными документами для проверки расшифровок.

В третьей гробнице за день — скромной камере, вероятно, чиновника среднего ранга — Денон нашёл на полу частично развёрнутый папирусный свиток. Грабители оставили его: ни золота, ни немедленной рыночной ценности. Он поднял его осторожно. Папирус был сухим, ломким по краям, но сердцевина свитка уцелела. Он развернул его на колене.

Свиток имел сорок сантиметров в высоту и более двух метров в длину. Он был покрыт столбцами чёрных иероглифов, с иллюстрированными виньетки, выполненными красными и охристыми чернилами: весы, на одной чаше которых лежало перо, а на другой человеческое сердце; человек на коленях перед сорока двумя судьями; Анубис с головой шакала, держащий скипетр ус. Это было то, что позже назовут сто двадцать пятой главой Книги мёртвых. Психостасия, суд над душой.

Ни тот, ни другой не умели читать этот текст. Денон, однако, узнал виньетки. Он видел похожие сцены в других гробницах. Он аккуратно свернул папирус, завернул его в льняной носовой платок. В Париже его изучит Марсель. Для этого папирус не предназначался. Но именно это с ним случилось.

В четвёртой гробнице за день Денон нашёл второй папирус. Он был больше первого. Денон наклонился, чтобы взять его. Солдат эскорта оказался там раньше. Не совсем раньше. Они увидели папирус одновременно. Но солдат сделал шаг, пока Денон ещё прикидывал. Рука солдата уже лежала на свитке. Секунду они смотрели друг на друга. Затем Денон взял папирус из рук солдата. Не резко. Но и без колебаний. Он сказал: «Комиссия по искусствам». Солдат разжал руку. Возразить ему по-настоящему было нечего.

Комиссия по искусствам была законной властью. У него было право брать научные документы. Это отличалось от того, что собирался сделать солдат.

Солдат вышел из камеры. Денон остался один с факелом и пустой нишей. То, что он сделал, было законно. То, что он сделал, было быстро, решительно, без совещаний. То, что он сделал, было тем же самым жестом, что и у солдата. Рука, протянутая к предмету, который ему не принадлежал, мгновенный расчёт стоимости, захват. Разница была лишь в названии, которое давали этому жесту в зависимости от того, кто его совершал. Денон знал, что он только что сделал, — не сам жест, жест был совершён уже несколько секунд назад, — но то, что этот жест означал: притязание на власть, позволявшую брать раньше солдата. И результат был тот же. Он вышел из камеры, не оборачиваясь. Он записал в личном дневнике одной строкой: «Взял папирус раньше солдата».

Солдат, со своей стороны, не ушёл с пустыми руками. Он вернулся в камеру и подобрал то, что оставил Денон: три разбитых фаянсовых амулета на полу, обломок позолоченного картонажа, известняковый осколок с росписью, на котором читался глаз уаджет. Вещи второго сорта, которые Денон не счёл достойными своей сумки. Для себя солдат счёл их достойными. Оба произвели отбор. Различались только критерии.

В полдень Жомар спустился со своего уступа и подошёл к Денону.

— Ваша гробница находится в ста тридцати двух метрах к востоку от точки, которую я принял за вершину скалы.

— И это полезно? — спросил Денон, стирая с рук известняковую пыль.

— Когда кто-нибудь захочет систематически раскопать эту долину, моя карта подскажет ему, с чего начать. Пока никто

не знает, сколько гробниц ещё скрыто под песком. Мои измерения укажут, где копать.

Он взглянул на столбцы цифр в записной книжке Жомара, не понимая расчётов.

— Вы уже думаете о тех, кто придёт после нас.

— Я думаю о них с самого начала. Мы не можем сделать всё. Но мы можем сделать так, чтобы те, кто придёт после нас, продолжили с того места, где мы остановились.

Вернувшись в лагерь, Жомар задумался над тем, чему его научили два дня в Долине царей. Не о гробницах. О грабеже.

С тех пор как он оказался в долине, ему довелось увидеть, как одновременно действуют четыре разные логики: проводники из Курны, которые эксплуатировали гробницы, открытые учёными, ускоряя давнюю торговлю под влиянием нового спроса; солдаты, которые подбирали всё, что могли унести, без организации, без критерия; офицеры, которые покупали осмотрительно и на честные деньги; комиссары, которые изымали властно, методично, с документацией. И он сам со своими измерениями. И Денон со своими записными книжками и сумками.

Все четыре типа приводили к одному и тому же результату: предметы, прежде бывшие в Египте, теперь там отсутствовали. Его тревожило не количество. Его тревожило отсутствие чёткой границы между законным и незаконным. Комиссия имела официальные полномочия собирать научные образцы. Но эти полномочия не были чётко определены. Они не гласили: вы можете взять это, но не то. Они гласили лишь: вы здесь ради науки. Решала наука.

Он записал в дневнике: «Различие между коллекционированием и грабежом есть различие цели, а не действия. Мы собираем для Парижа. Они грабят для себя. Долина царей разницы не делает». Он отложил дневник. Это был не тот вывод, которым ему хотелось бы делиться.

На равнине, у подножия скалы, Дезе остановился перед поверженным колоссом Рамсеса II. Безмятежное лицо смотрело в небо. На груди были высечены надписи, провозглашавшие его титулы. Владыка вселенной, Господин двух земель.

— Этот Рамсес повелевал десятками тысяч людей, — сказал Дезе, глядя на низвергнутого колосса. — Он воздвигал памятники для вечности. А теперь вот он лежит в песке со сломанным носом.

Жолуа положил свою землемерную цепь и осмотрел статую взглядом инженера.

— Гранит привезён из Асуана, за двести километров к югу. Они добыли необработанный блок, сплавляли его до Фив по разливу, а затем изваяли здесь. Гора пришла к храму, а не наоборот.

До рассвета следующего дня Жомар и Денон ждали перед колоссами Мемнона, когда взойдёт солнце. Первые лучи коснулись камня. Ничего не произошло. Колосс уже почти шестнадцать веков как не пел. Они переглянулись.

— Статуя больше не поёт, — добавил Жомар. — Говорят, она умолкла, когда один римский император велел её починить. Вероятно, камень, расширяясь от внезапного утреннего тепла, заставлял вибрировать свои трещины. Явление чисто физическое.

— Разумеется. Но представьте, что чувствовали древние паломники, слыша это без вашего теплового объяснения. Для них статуя говорила на самом деле. В этой вере была религиозная сила, которую ваше объяснение, сколь бы верным оно ни было, не может заменить.

Дезе зашёл взглянуть на колоссов ранним утром, подняв глаза на бесстрастные лица и ушёл.

— Впечатляет. Но мамелюки сейчас заботят нас больше. Возвращайтесь, когда закончите.

Жомар остался перед колоссами Мемнона и после ухода Дезе. Он смотрел на восемнадцать метров кварцита, восседающих на равнине, без храма вокруг, без видимого архитектурного контекста. Вот что не могли унести ни солдаты, ни торговцы из Курны. Колосс высотой в восемнадцать метров, стоящий на фиванской равнине, видимый за пять километров, посреди пустоты. Это был пространственный факт, который никто не мог переместить. Статуя имела смысл только здесь, в этом конкретном пейзаже.

Переносимые предметы разрывали эту связь в тот самый миг, когда их брали. *Ушебти* из фаянса в гробнице Долины царей был на своём месте. Его изготовили, чтобы он находился там, чтобы сопровождать именно этого покойника в этом самом путешествии.

Затем он убрал записную книжку, взял инструменты и спустился обратно к лагерю. Колоссы оставались позади него, неизменные, на своей равнине. В этом было их преимущество перед всеми предметами, которые уносили. Они не могли уйти. И, не имея возможности уйти, оставались тем, чем были всегда.

IV – Асуан

2 февраля Дезе приказал возобновить марш. Фивы остались позади, и пилоны были видны ещё час после выхода.

Колонна двинулась вверх по реке к Асуану, за двести километров к югу. Пейзаж сужался: зелёная полоса вдоль Нила, затем сразу пустыня, скалистые холмы всё ближе к реке. Деревни феллахов встречались всё реже. Долина сужалась.

По мере продвижения на юг население менялось. Нубийцы с более тёмной кожей постепенно сменяли арабов-феллахов. Менялись и культуры. Дурра, африканское сорго, вытесняла

пшеницу. Дома становились ниже, их строили из необожжённого кирпича, фасады были без окон. Французская армия проходила через область, куда давно не ступал ни один европеец.

Жители деревень смотрели на проходящую колонну с плоских крыш. Они не бежали. Они наблюдали. Жолуа отметил это различие в своей записной книжке. Феллахи Верхнего Египта веками учились ждать, пока пройдут армии. Они знали, во что обходится сопротивление и чего стоит сотрудничество. Они не предлагали ни того, ни другого. Они ждали.

Колонна увозила предметы с самого начала. Жолуа понял это не сразу, наблюдая за вычными животными. При выходе из Фив мулы несли пайки, лагерное снаряжение, ящики с боеприпасами. Несколько дней спустя те же мулы несли дополнительный груз. Холщовые мешки, наспех сколоченные деревянные ящики, привязанные сверх положенного. Солдаты сами смастерили их на вечерних биваках.

Однажды после полудня Жолуа остановился возле особенно нагруженного мула. Холщовый мешок был плохо завязан. Из него торчал угол резного известняка, фрагмент барельефа примерно шестьдесят на сорок сантиметров, изображавший нижнюю часть фигуры в процессии. Низ одеяния, ступни, нижний конец скипетра. Он узнал стиль. Птолемеяевская эпоха, вероятно, вторично использованный блок с этого же памятника.

Солдат, который вёл мула, заметил его взгляд. Он молча затянул мешок. Они продолжили путь.

— Египет уходит на север на спине мула, — сказал Жолуа Денону, возвращаясь из храма.

— Часть Египта. Самая лёгкая.

— И самая удобная для переноски. Именно это решает, что уходит и что остаётся. Не ценность. Не историческая значимость. Вес.

Жомар на мгновение задумался.

— Что означает: история Египта, которую увидит Париж, будет историей того, что весило меньше двадцати килограммов. Всё остальное останется здесь.

В ту ночь Жомар сел у Нила и стал смотреть на реку. Он машинально прикинул на глаз ширину русла: около трёхсот метров. Течение умеренное.

Нил шёл на север. И то, что они увозили, тоже. У армии были свои пути снабжения, свои речные конвои, свои суда, спускавшиеся к Каиру с донесениями, перепиской, снаряжением. На этих же судах спускались и собранные предметы: официальные ящики Комиссии, неофициальные свёртки офицеров, мешки, привязанные к выучным животным, что шли вдоль берега.

Нил был транспортным путём уже четыре тысячи лет. Фараоны сплавляли по его водам гранит из Асуана в Фивы. Римляне сплавляли обелиски в Александрию, по течению. Теперь французы сплавляли в Каир то, что века оставили в Верхнем Египте. Уже не по воде, а на спинах животных. Река не различала грузов. Она несла то, что ей доверяли.

Жомар подумал о числах. Армия стояла лагерем примерно в дюжине мест с момента выхода из Каира. Каждая остановка давала свою долю предметов. Всё, что можно было унести, скользило на север, влекомое парижским рынком, частными коллекциями, Лувром. Единственного не было. Был уклон, и предметы следовали за уклоном.

12 февраля — остановка в Ком-Омбо.

Жолау увидел храм ещё до того, как спешился. Тот был почти погребён под песком.

Жолуа провёл два дня остановки со своей землемерной цепью в расчищенных частях храма. Барельефы отличались большой чёткостью. Египетское искусство сохраняло свой визуальный язык дольше, чем любая европейская школа.

— Эти инструменты на стене, — сказал Жолуа, остановившись перед одним из рельефов во внутреннем зале. — Скальпели, щипцы, зонды. Египетские врачи занимались хирургией. Ни один античный автор не упоминал об этом с такой точностью.

Денон один за другим срисовывал инструменты в свою записную книжку, отмечая размеры и вероятное назначение.

Военный хирург батальона — некий Брюян, бывший ученик парижской Школы хирургии — пришёл взглянуть на копии Денона. Он долго молча рассматривал рисунки.

— Этот изогнутый скальпель, — сказал он наконец, указав на инструмент на стене. — Мы применяем такой при глубоких брюшных разрезах. Изгиб позволяет подвести его под органы, не проколов их. Я полагал, что это недавнее изобретение, последних десяти лет.

— Эти зонды с оливой, — сказал Денон, показывая другой инструмент. — Вы их узнаете?

— Для катетеризации мочеиспускательного канала. Та же форма, тот же размер. Металл другой — бронза вместо стали, — но инструмент тот же. Кто-то здесь решил ту же анатомическую задачу, независимо, с разницей в две тысячи лет.

Он провёл ещё час перед рисунками, опознавая инструменты один за другим и объясняя их применение. Денон записывал объяснения на полях своих набросков. Это двойное прочтение — рисунок художника, комментарий хирурга — давало то, чего никто из них не смог бы сделать в одиночку: понимание предмета через знание его функции.

— Вам стоило бы прийти завтра утром, — сказал Денон. — В дальних залах есть и другие медицинские рельефы.

На следующее утро Брюян и Денон вместе обошли внутренние залы храма: хирург опознавал инструменты и диктовал их назначение, а Денон рисовал и копировал. Эта двухдневная работа дала одну из самых цитируемых таблиц «*Описания*»: каталог медицинских инструментов храма в Ком-Омбо с функциональными пояснениями практика-современника.

Тем временем Жолуа обмерял храм и размышлял о том, что означает его сохранность. Ответ был прост: его защитил песок. То, что его погребло, его и сберегло. Он заговорил об этом с Дезе во время передышки.

— Если мы действительно хотим сохранить этот храм, — сказал Жолуа, — его следует оставить как есть. Ничего не расчищать. Ничего не трогать. Песок защищает его лучше, чем это сделали бы мы.

— Вы советуете мне ничего не делать? — сказал Дезе с оттенком веселья.

— Я советую вам учесть, что наше присутствие здесь не обязательно идёт на пользу тому, что мы приехали изучать.

Дезе не ответил. Ему надо было кормить армию и заканчивать войну. Археологические соображения Жолуа не имели никакого веса в его решениях.

Жолуа наблюдал за тем, что покидало храм: солдаты, выходившие из внутренних залов с отяжелевшими мешками; офицеры, покупавшие вещи у торговца из Эсны, специально приехавшего сюда; сам Денон, купивший две вещи после переговоров, которые вёл Хасан.

То, что он видел здесь, происходило в Дендере, в Фивах и повторится в Асуане. Структура всегда была одной и той же: солдаты, которые берут напрямую, местные торговцы, которые поставляют, посредники, которые облегчают,

учёные, которые покупают, пользуясь законными полномочиями.

Этот храм был посвящён двум богам — Собеку и Хароэрису — со строгой симметрией: два входа, два гипостильных зала, два святилища. Жолуа отметил, что две оси слегка смещены. Архитектура решила задачу двух равных богов без видимой иерархии.

— Эти сцены не так уж отличаются от тех, что мы видим на римских триумфальных арках, — сказал Денон Жомару, указывая на ряды пленников, стоящих на коленях перед победоносным фараоном. — Все цивилизации изображают свои военные победы одинаково.

— Возможно, потому что это самый непосредственно читаемый способ передать соотношение сил. Царское искусство всегда служило политической пропаганде.

В последний день в Ком-Омбо Денон увидел, как двое унтер-офицеров ломают кувалдой барельеф на внутренней стене святилища. Плита изображала хирургические инструменты, подобные тем, что опознал Брюян. Один человек мог её унести.

— Прекратите, — сказал Денон.

— У нас есть разрешение. Капитан Лашез сказал, что можно. Денон пошёл за Дезе. Дезе велел вызвать капитана Лашеза. Тот не отрицал. Он видел, как другие офицеры поступали так же в Фивах, в Дендере. Он не знал, что это запрещено.

— Эти памятники принадлежат Комиссии. Ни к чему не прикасайтесь без моего письменного приказа.

Лашез удалился. Плита была надломлена у основания. Удары кувалды уже сделали своё дело. Вернуть её на место было невозможно. Денон взял её обеими руками и положил плашмя на землю. Лучше от этого не стало. Но это было меньшим злом, чем дать ей упасть.

Вечером он отправился к Дезе.

— Такое случается часто?

— Чаще, чем мне известно. Солдат, который идёт уже два месяца, который видит камни, покрытые непонятными знаками, берёт то, что может поднять. Это по-человечески. Я не могу уследить за каждым храмом.

— А различие между тем, за чем вы не можете уследить, и тем, что Комиссия собирает официально, как вы его формулируете?

— У вас есть бланки. У ваших комиссаров есть мандаты. У солдат есть мешки. Это не одно и то же.

Он посмотрел на Денона.

— Я знаю, что этого недостаточно. Вы это тоже знаете. Но это всё, что я могу предложить вам в качестве различия.

Он двинулся дальше, затем остановился в последний раз.

— Вон тот храм. Я вошёл туда однажды ночью, один. Я смотрел на эти колонны в темноте двадцать минут. Не знаю, что я понял. Но я этого не забуду. Доброй ночи.

На следующее утро Денон вернулся взглянуть на надломленную плиту. Она исчезла за ночь. Кто-то — не Лашез, наказанный офицер находился под надзором — всё же унёс её. Он подал Дезе письменное заявление. Дезе закрыл дело без последствий. У него не было ни свидетеля, ни имени, ни доказательства. Плита лежала в чьём-то багаже где-то между Ком-Омбо и Асуаном.

На следующий день, в часе пути от Ком-Омбо, Жолуа свернул коня к небольшой песчаниковой часовне, видневшейся в пятидесяти метрах от дороги. Её отчасти расчистили от песка при проходе головных батальонов.

Стены стояли. Деревянная кровля обрушилась. Внутри росписи были видны на трёх стенах. Процессии, божества в ладьях, иероглифические надписи, идущие в два ряда. В

нишах прежде стояли статуэтки. Они были пусты. На полу лежали осколки фаянса, обломки того, что было фигурками, разбитыми, когда их срывали с постаментов.

Солдаты из арьергардного батальона прошли здесь на заре. Жолуа заключил это по следам: свежие отпечатки сапог на песке, ещё белый раствор по краям опустошённых ниш. Работа быстрая, без колебаний. Эти люди знали, что ищут.

Он начал описывать в записной книжке настенные росписи. Только они остались нетронутыми: слишком высоко, чтобы до них можно было легко дотянуться. Затем что-то привлекло его внимание. В верхнем ряду, справа от третьей панели, тянулась демотическая надпись в четыре строки. Он скопировал её знак за знаком, с маниакальной точностью, за три четверти часа работы под утренним зноем.

Это будет единственная существующая копия. Часовня обрушится в последующие годы. Его копия останется в архивах в ожидании читателя.

Жолуа отправился догонять колонну.

Продвижение к Асуану после Ком-Омбо оставляло мало времени для остановок. Жолуа рисовал верхом всё, что мог, делая наброски силуэтов храмов, замеченных с дороги. В этих беглых набросках была живость, которой не всегда обладали обмеры. Свет определённого мгновения, соотношение между памятником и его ближайшим окружением.

— Вы рисуете как солдат на марше, — сказал молодой офицер, наблюдавший за работой Жолуа. — Не останавливаясь.

— Египет не ждёт. Его надо схватывать в движении.

16 февраля экспедиция достигла Асуана. Первый порог делал плавание на юг невозможным. Это была естественная граница Египта с древних времён. Дезе разбил лагерь и предоставил учёным вести исследования.

— Дайте мне несколько дней для Филе. Норден побывал там в 1737 году. Рисунки неточные. Мы можем сделать лучше.

В Асуане, перед отправлением на Филе, рынок древностей оказался самым оживлённым из всех, что Жолуа наблюдал с начала кампании. Весть о том, что армия возвращается на север, разнеслась по деревням округи. Продавцы приходили издалека. С самого рассвета они располагались на подступах к лагерю со своими мешками и шкатулками. Это был уже не неприметный рынок одного посредника: это была оживлённая торговля, с ценами, менявшимися в зависимости от покупателя и продавца.

Жолуа наблюдал за сделками час. Он видел, как из рук в руки переходят *ушебти* из раскрашенного дерева, фаянсовые фигурки, изображающие Гора, Исиду, Анубиса, скарабей всех размеров, каменные амулеты, фрагмент позолоченного картонажа, вероятно, от гроба, две бронзовые статуэтки с древней патиной, несколько ваз из алебаstra, одна из которых ещё сохранила крышку.

Цены были высоки. Выше, чем в Дендере или Фивах. Продавцы знали, что это последняя возможность. После ухода французов придётся ждать следующего прохода. Они закладывали эту редкость в цены.

Древний рынок подчинялся тем же правилам, что и любой рынок: предложение, спрос и сознание обеих сторон, что это последний шанс. Продавцы хотели продавать. Покупатели хотели покупать. Три тысячи лет истории переходили из рук в руки под звон пересчитываемых пиастров.

V – Филе

17 февраля Денон и Жолуа сели на фелюгу до Филе. Плавание через порог было опасным. Выступающие из воды скалы, водовороты. Нубийские лодочники знали

каждый проход. Остров вынырнул из бурных вод. Четыреста метров на сто пятьдесят, почти целиком занятый птолемеевскими храмами.

— Боже мой, — прошептал Денон.

— Эти барельефы — визуальная энциклопедия египетского ритуала, — сказал Жолуа, заканчивая обмеры бокового зала.

— Если расшифровать сопровождающие их тексты, мы узнаем значение каждого жеста, каждого приношения.

— Этот киоск женственен, — сказал Денон, указывая на небольшой павильон с колоннами на краю острова. — Большие храмы подавляют. Этот убеждает.

Киоск Траяна — названный так потому, что его барельефы изображали этого римского императора в облике фараона, — был самым лёгким сооружением острова. Четырнадцать колонн с цветочными капителями, несущих антаблемент из тонкого песчаника. Внутренние украшения изображали римских императоров первых веков, исполняющих традиционные фараоновы обряды, словно формы пережили всех, кто их перенимал. Блоки были скромных размеров, их могли перенести несколько человек. Барельефы исключительные.

Денон долго стоял перед киоском, размышляя о том, чего всё ещё не сформулировал ясно. Он мог бы приказать разобрать несколько украшенных блоков. Эскорт был здесь, солдаты могли нести, Хасан мог договориться с лодочниками о перевозке до Асуана. Это было бы законно. У него были бланки Комиссии. Это было бы осуществимо. Блоки весили не более нескольких сотен килограммов каждый.

Он решил этого не делать.

Не из моральных принципов. Эту добродетель он больше за собой не признавал после всего, что взял со времён Дендеры. А потому, что не хотел, чтобы при следующем

проезде Филе стал похож на другие места. Потому что нечто в этой архитектурной лёгкости, в этой изысканности человеческого масштаба требовало оставаться целым. Потому что, если у него отнять блоки, он перестал бы быть тем, чем был, — павильоном, беседой колоннады с небом, — и стал бы руиной среди руин.

Впервые с отъезда из Каира он сделал этот выбор осознанно, назвав причины, взвесив их. Он записал это в дневнике в тот вечер именно потому, что выбор показался ему необычным и заслуживающим отметки: «Филе. Киоск. Решил не брать. Не из щепетильности. Из нежелания разрушать то, что меня трогает».

На скалах вокруг Филе были надписи древних паломников. Имена, даты, молитвы. Жолуа скопировал несколько, отмечая положение и состояние сохранности. Денон скопировал остальные. Даже самые неразборчивые. Даже те, что наполовину стёрты разливами Нила.

— Эти граффити трогают меня сильнее, чем храмы, — признался Жолуа Денону. — Это обычные паломники. Они приходили молиться Исиде и высекали своё имя. Не для потомков. Просто чтобы оставить след.

— Наши записные книжки — наши граффити. Мы здесь были. Мы это видели. Разница в том, что мы претендуем на то, что занимаемся наукой.

— А мы и занимаемся ею, разве нет?

Он помолчал, размышляя.

— Да. И мы оставляем ещё и следы иного рода. В пустых нишах, в ящиках на спинах мулов. Эти следы мы не заносим в «Описание».

25 февраля Денон покинул Асуан в сопровождении шестидесяти всадников конвоя. Почти девятьсот километров обратного пути до Каира, вниз по Нилу, на

север. Хасан ехал с ним в качестве переводчика. Жолуа и Девилье отправились в тот же день с другим отрядом.

Обратный путь занял семнадцать дней. Колонна спускалась вдоль реки по пятьдесят километров в день, останавливаясь в деревнях за водой и провиантом. Стояла жара, почти тридцать градусов в тени. Шли от рассвета до полудня, затем, после четырёхчасового привала в укрытии под навесами, трогались снова.

Близ деревни, название которой никому не было известно, во время марша рухнул солдат. Тепловой удар. Его перенесли в тень пальмы. Полковой хирург напоил его и смочил ему голову нильской водой. Через час человек пришёл в себя, но идти не мог. Его погрузили на мула. Ночью он умер. На рассвете его похоронили в песке в ста метрах от бивуака. Ни креста, ни плиты. Сержант записал имя и дату в реестр роты.

Между Ком-Омбо и Эдфу двое солдат подрались из-за фаянсовой фигурки, купленной на рынке. Первый утверждал, что заметил её раньше другого, второй за неё заплатил. Они сцепились перед палаткой старшего сержанта. Тот вышел, разнял их, конфисковал фигурку и спрятал в собственный мешок. Оба запротестовали. Сержант сказал, что вещь отныне принадлежит роте и что первый, кто заговорит о ней снова, получит десять нарядов. На этом дело кончилось.

Несколько дней спустя колонна прошла через покинутую деревню. Тридцать домов из сырцового кирпича, все пустые. Следов боя не было. Жители покинули эти места до прихода армии. Лейтенант приказал обыскать дома. Во дворах трёх разных домов нашли зарытые кувшины. Зерно, финики, масло. Кувшины опорожнили в пользу реквизиций. В четвёртом доме обнаружили тайник под полом: шесть фаянсовых скарабеев, три медных браслета, бронзовое

зеркало. Лейтенант отдал скарабеев капитану, браслеты оставил себе, а зеркало уступил солдатам, нашедшим тайник. Под вечер, когда колонна подходила к ущелью Эль-Каб, во весь опор из авангарда прискакал всадник. Он искал Дезе. Его провели в голову колонны. Он быстро заговорил. Дезе знаком подозвал офицеров.

— Заграждение на дороге. Вооружённые феллахи. Человек двадцать. Они перекрыли проход у самого ущелья.

— Они чего-нибудь требуют?

— Они не говорят по-французски. Переводчик не смог подойти. Они стреляли в воздух.

Дезе размышлял несколько секунд.

— Обойдём с востока?

— Невозможно. Местность непроходима. Объезд занял бы три дня.

— Хорошо. Прорываемся. Кавалерия впереди, пехота за ней. Денон, вы остаётесь в середине колонны, при мулах.

Колонна снова тронулась. Час спустя они подошли к ущелью. Феллахи были там, вооружённые палками, копьями, несколькими старыми мушкетами. Они стояли поперёк дороги, неподвижно.

Дезе приказал кавалерии двигаться шагом. Феллахи не шелохнулись. В пятидесяти метрах Дезе поднял руку. Кавалерия остановилась. Он подозвал Хасана.

— Скажи им, что мы хотим лишь пройти. Мы ничего не тронем. Ничего не будем реквизировать в их деревне.

Хасан пошёл вперёд пешком, один, с открытыми ладонями. Он заговорил по-арабски. Один из феллахов ответил. Хасан вернулся.

— Они говорят, что армия забрала у них всё зерно две недели назад. У них ничего не осталось. Они хотят, чтобы им вернули зерно или заплатили.

— Две недели назад мы ничего не брали. Это были не мы.

— Они говорят, что это были французские солдаты. Они не различают отрядов.

Дезе помолчал. Затем достал из седельной сумки кошелёк и бросил его Хасану.

— Тридцать пять пиастров. Скажи им, что это всё, что у меня есть. Если захотят больше, им всё равно придётся нас пропустить.

Хасан снова пошёл с кошельком. Он заговорил с тем же человеком. Тот взял кошелёк, взвесил его на руке, посоветовался с двумя другими. Затем они, не говоря ни слова, отступили от дороги. Колонна прошла. Феллахи молча смотрели на проходивших солдат. Когда проехала последняя повозка, феллахи вернулись в свою деревню.

В Фивах колонна сделала остановку на два дня. Дезе хотел дать людям отдохнуть перед последним переходом к Каиру. Бивуак разбили в километре от Карнака. Солдаты спали в тени храма. Некоторые поднимались на крыши, чтобы увидеть Нил. Другие оставались в палатках, слишком усталые, чтобы двигаться.

В вечер прибытия на бивуаке вспыхнула ссора. Солдат второй роты украл хлебный паёк у другого солдата во время раздачи. Обокраденный заметил пропажу, догнал вора и выбил ему ударом кулака два зуба. Вор ответил и выхватил нож. Четверо солдат растащили их. Подоспел сержант и велел на ночь заковать обоих в кандалы. Наутро их судил капитан. Вор получил двадцать ударов палкой. Обокраденного освободили без наказания.

На следующий вечер Дезе созвал офицеров в свою палатку. Он получил депешу из Каира. Новости были нехорошие. Турецкая армия собиралась в Сирии. Бонапарт только что выступил из Каира в Сирию с основными силами армии.

Дезе надлежало как можно скорее вернуть свою дивизию в Каир.

— После Фив больше никаких остановок, — сказал Дезе. — Идём до самого Каира. Самое большее — десять дней.

— А Дендера? — спросил один из лейтенантов. — Учёные хотели туда вернуться.

— Времени нет. Проходим мимо, не останавливаясь.

Денон, присутствовавший при этом, вмешался.

— Мне нужна остановка в Абидосе. Шесть часов. Ради храма в Абидосе.

— Невозможно.

— Шесть часов. Это всё, о чём я прошу.

Дезе посмотрел на него.

— Шесть часов в Абидосе. Ни часу больше. Если к полудню вы не вернётесь, мы уйдём без вас.

Когда колонна достигла Абидоса, Денон спешился и вошёл в храм вместе с Хасаном и двумя солдатами эскорта. Он направился прямо в дальний зал, наполовину занесённый песком, в конце главного коридора. Ряды вырезанных картушей покрывали западную стену. Десятки имён царей, расположенные по регистрам.

Он простоял перед стеной два часа, глядя на надписи, которых не мог прочесть. Хасан сел на пол у входа. Двое солдат ждали снаружи.

В зал вошёл человек. Феллах лет сорока, в белом тюрбане и кожаных сандалиях. Он нёс свёрток, обёрнутый грубой тканью. Он подошёл к Денону и развернул перед ним ткань. Обломок известняка со стороной в сорок сантиметров, с тремя целыми картушами.

Человек указал на обломок. Пять поднятых пальцев.

— Пять пиастров.

Денон взглянул на стену позади себя. Свежая выемка в семнадцатом ряду, там, где находились эти три картуша. Края известняка были белыми, свежесрезанными. Человек вырубил кусок ночью или рано утром.

Денон достал из кошелька пять пиастров и отдал их. Обломок отправился в его кожаную сумку. Человек взял деньги и ушёл, не сказав ни слова.

Он провёл в зале ещё два часа, стоя перед стеной. В половине двенадцатого в зал вбежал один из солдат.

— Сударь, генерал велит седлать коней.

Он вышел из храма. Колонна уже построилась для марша. Он сел в седло и галопом догнал голову колонны. Дезе проводил его взглядом и ничего не сказал. Колонна двинулась в путь.

Дорога до Каира занимала ещё восемь дней. Колонна встретила три отряда, шедших на юг. Ходили слухи. Бонапарт ушёл в Сирию, турецкая армия наступает, англичане блокируют все порты. Никто толком не знал, что происходит.

Когда в середине марта колонна достигла Каира, солдат разместили в казармах Цитадели. Денон отправился прямо в северную пристройку дворца Хасан-Кашифа, где хранился багаж Комиссии.

Склад был заперт. Он час ждал, пока интендант придёт с ключом. Денон вошёл. Его двенадцать ящиков стояли там, выстроенные вдоль южной стены, с надписями, сделанными его рукой. Он открыл первый, бегло проверил содержимое и закрыл. Всё было цело. Он вышел со склада и отправился во дворец.

Генерал Дюга, командовавший Каиром в отсутствие Бонапарта, принял его тотчас. Он стоял у стола, заваленного картами Сирии. Он знаком предложил Денону сесть.

— Вы завершили свою кампанию в Верхнем Египте?

— Да. От Дендеры до Асуана. Все главные памятники.

— Рисунки пригодны для «*Описания*»?

— Да. Пятьдесят три листа. Храмы, гробницы, колоссы, барельефы.

— Хорошо. Слушайте меня внимательно. Главнокомандующий выступил, чтобы остановить турецкую армию, прежде чем она дойдёт досюда. Его приказы не меняются: вы остаётесь в Каире. Вы координируете работу Института вместе с Монжем и Бертолле. Исследования Дельты продолжаются. Раскопки в Саккаре продолжаются. «*Описание*» продолжается. Вы меня понимаете?

— Понимаю.

— Если англичане высадятся в его отсутствие, вы эвакуируете коллекции на юг. Дезе знает, где их спрятать. Всё остальное можете потерять, но не это. Ясно?

— Ясно.

— Прекрасно. А теперь идите. У меня работа.

Дюга вернулся к своим картам. Денон вышел из кабинета.

Бонапарт покинул Каир за месяц до этого с тринадцатью тысячами человек и двинулся в Сирию. Денон остался в Каире с Монжем, Бертолле, Фурье и тремя десятками учёных, не последовавших за армией.

В отсутствие Бонапарта Денон организовывал работу Института. Монж руководил исследованиями в мемфисской области. Бертолле возглавлял раскопки в Саккаре. Жоффруа Сент-Илер продолжал свои зоологические изыскания в Дельте. Фурье вёл переписку с провинциальными отделениями.

В мае Денон созвал собрание. Присутствовали все члены Института, находившиеся в Каире. Тридцать учёных и

инженеров, набившихся в большой зал. Он открыл заседание в десять часов.

— Господа, Бонапарт в Сирии уже месяц. Точных известий у нас нет. Англичане по-прежнему господствуют на Средиземном море. Предлагаю подготовить план перевозки на случай, если представится okazия.

Монж поднял руку.

— Надо дождаться возвращения Бонапарта. Решать будет он.

— А если он не вернётся? — заметил Фурье.

Никто не ответил. Наконец слово взял Бертолле.

— Денон прав. Надо подготовить план. Так, когда появится корабль, мы будем готовы.

Предложение было принято. Заседание закрыли в полдень.

Бонапарт вернулся в июне. Он уходил с тринадцатью тысячами человек. Назад привёл менее десяти тысяч. Убитые, больные, зачумлённые. Наступление провалилось.

Через несколько дней после возвращения Бонапарт вызвал Денона во дворец. Он похудел. Мундир болтался у него на плечах. Он провёл Денона в свой кабинет, не произнеся ни слова приветствия.

— Институт продолжал работать?

— Да. Всё прошло хорошо.

— Прекрасно. Продолжаем. Англичане по-прежнему блокируют побережье. Никаких перевозок, пока положение не изменится.

— Понял.

Бонапарт махнул рукой. Разговор был окончен. Денон вышел.

Следующие недели прошли спокойно. Исследования продолжались. Раскопки тоже. «Описание» продвигалось медленно. Каир ждал, не зная, что будет дальше.

VI – Розеттский камень

15 июля 1799 года лейтенант инженерных войск по фамилии Бушар руководил земляными работами близ Розетты. Его кирка наткнулась на что-то.

Бушару было двадцать восемь лет, он был выпускником Политехнической школы. Он тотчас понял, что нашёл. Стела из чёрного гранодиорита высотой сто двенадцать сантиметров с тремя параллельными надписями. Он велел перенести камень к себе и немедленно отправил срочное сообщение в Институт Египта в Каире.

Его дом стоял в стороне от военных работ. Камень был там в безопасности.

Жан-Жозеф Марсель и Реми Рэж были посланы в Розетту. Марсель был востоковедом, специалистом по семитским языкам. Рэж был эллинистом, свободно читавшим по-древнегречески. 24 июля они осмотрели камень со всех сторон.

Греческий текст, расположенный в нижней части стелы, сохранился относительно хорошо. Рэж читал его вслух, пока Марсель делал записи.

— Этот декрет читает юного Птолемея V. Налоговые льготы для храмов, дары жречеству. Из тех вещей, что высекают на трёх языках, чтобы все наверняка о них узнали.

Марсель смочил лист очень тонкой бумаги и осторожно прижал его к исписанной поверхности ватным тампоном, пропитанным разбавленными чернилами. Результат: точный оттиск каждого знака, белый на чёрном фоне. Для всей поверхности эта операция занимала несколько часов.

Донесение Марсея и Рэжа поступило в Институт 29 июля. Подтверждение того, что это действительно один и тот же текст на трёх языках, один из которых читаем, вызвало волнение, какого Денон не видел со времени прибытия в Александрию год назад. Если камень позволит расшифровать иероглифы, три тысячелетия истории вновь станут читаемыми. Династии, битвы, боги, имена. Всё то, что путешественники копировали, не понимая, на протяжении двух столетий.

— Возможно, мы стоим на заре научной революции, — сказал Денон на срочно созванном заседании Института.

Монж предложил отправить в Розетту экспедицию.

— Гипсовые слепки, оттиски на бумаге. Пока кто-нибудь не повредил камень или не увёз его.

Жомар присутствовал, когда Марсель и Рэж делали первые оттиски.

Розеттский камень имел сто двенадцать сантиметров в высоту, семьдесят шесть сантиметров в ширину и двадцать восемь сантиметров в толщину. Вес, оценённый по объёму и известной плотности гранодиорита, составлял около семисот шестидесяти килограммов. Он сам снял эти размеры не потому, что они были бы немедленно полезны, а потому, что измерение было его способом вступить в контакт с предметом.

Стела была неполной. Верхней части не хватало, она была отбита в неопределённую эпоху. Иероглифы сверху поэтому сохранились частично. Около трети египетского текста было утрачено. Этот пробел осложнит работу будущего дешифровщика. Но греческий раздел был почти цел. Для работы этого хватало.

— Греческий, внизу, мы можем прочесть немедленно, — сказал Марсель. — Это декрет совета жрецов Мемфиса,

изданный в девятый год правления Птолемея V Эпифана. Сто девяносто шестой год до нашей эры.

— А иероглифы? — спросил Жомар.

— Вероятно, тот же текст. Так мы надеемся.

— Если так, — сказал Жомар, — мы можем начать устанавливать соответствия. У каждого греческого слова есть иероглифический эквивалент. Сравнивая длину групп знаков, выявляя повторы...

— Именно это мы и сделаем. Но эта работа займёт годы.

Жомар взял карандаш и начал записывать в блокнот частоту некоторых групп знаков в иероглифической полосе. Каждый знак отмечен, сосчитан, внесён в таблицу. Распределение не было случайным.

— Смотрите. Эта группа знаков, заключённая в картуш, встречается шесть раз в сохранившейся части иероглифов. Слово «Птолемей» встречается в греческом одиннадцать раз, а часть египетского текста отсутствует.

Марсель прервал работу и посмотрел.

— Возможно. Более того, весьма вероятно. Но соответствие знака знаку не обязательно прямое. Иероглифическое письмо, скорее всего, не алфавитное.

— Да. Но это отправная точка.

Он ещё не мог знать, куда приведёт этот путь.

Жомар помог Марселю натянуть последний лист оттиска на демотический раздел. Ночь была поздняя. Лампа коптила. Снаружи спал порт Розетты.

Жомар приходил взглянуть на камень трижды в течение следующей недели, в Розетте.

В первый раз он принёс свою кожаную ленту и измерил всё, что можно было измерить. Во второй принёс блокнот частот и сосчитал группы знаков в иероглифической полосе, составив таблицу распределения. В третий раз он не принёс

ничего. Он сел напротив камня на табурет. Гранодиорит был холодным и матовым. Ни блеска, ни цвета. Серая плита, уродливая в обычном смысле слова. Он положил ладони плашмя на колени и заставил себя не вычислять. Только смотреть. На поверхности виднелись следы резца, различимые в некоторых буквах. Кто-то вырезал это буква за буквой, часами. Этот труд был здесь. Он длился. Так смотрят на карту, чей язык по-прежнему непонятен, но на которой видно, что дороги проложены.

Он видел, сидя там, что этот камень принципиально отличается от всех других предметов, которые они собрали или пытались собрать за последний год с лишним. *Ушебти*, скарабеи, папирусы, обломки барельефов. Ценность этих предметов определялась их материальностью и происхождением. Их брали, потому что они были красивыми, редкими, древними.

У Розеттского камня не было эстетической ценности. Вся его ценность заключалась в том, что он означал: соответствие между тремя системами письма, одна из которых читаема, а две другие по-прежнему нет. Он не был предметом. Он был методом. И как метод он был воспроизводим. Оттиск Розеттского камня был научно равнозначен самому Розеттскому камню для любого, кто работал над дешифровкой.

Это была точная противоположность всем остальным предметам экспедиции. *Ушебти*, вынутый из гробницы, терял связь с контекстом. Розеттский камень, вынутый из фортификационного рва, не терял ничего. Он уже две тысячи лет был вне контекста. То, что он нёс в себе, не зависело от места, где он находился.

— Вы всё ещё здесь, — сказал Марсель, входя. — Это уже третий раз за неделю.

— Я размышляю. Этот камень — исключение из всего, что я наблюдал за этот год. Предметы, которые увозят, что-то

теряют. Этот не может ничего потерять. Потому что ему нечего терять.

Марсель сел рядом с ним.

— Разве что англичане его захватят.

— Да. Разве что это. Но если англичане его заберут, отиски останутся. Информация останется. Это единственное из всей экспедиции, что по-настоящему нельзя украсть.

Марсель принял решение, никого о нём не известив.

Помимо официальных отисков, сделанных в Розетте, он изготовил ещё тридцать, не для Института, не для «*Описания*», а для раздачи. Пять он отправил европейским корреспондентам: один в Лондон, два в Париж, один в Берлин, один в Копенгаген. Пять учёных, работавших над древними языками и способных, быть может, что-то распознать.

Двадцать пять он оставил в запасе. Если англичане захватят камень, если дешифровку придётся вести в Лондоне, эти отиски позволят французам работать параллельно. Гонка будет равной.

— Вы раздали ключ, прежде чем отпереть замок, — сказал Денон, узнав об этом.

— Я раздал копии ключа. Замок остаётся здесь. А если англичане заберут замок, у нас всё равно останутся наши копии.

Известие об открытии вызвало чрезвычайное собрание Института 2 августа. Все члены, находившиеся в Каире, явились. Председательствовал Монж. Денон представил отиски Марсея и технический доклад Рэжа о греческом тексте.

Зал был полон. Три десятка учёных, инженеров, натуралистов. Некоторые не появлялись на заседаниях

месяцами. Розеттский камень заставил их выйти из лабораторий, со строек, из поездов по Дельте.

После доклада слово взял Бертолле.

— Если этот камень позволит расшифровать письма, нам откроется доступ к трём тысячелетиям архивов. Царские списки, рассказы о битвах, религиозные трактаты. Всё, что высечено на всех памятниках, которые мы зарисовывали больше года, станет читаемым.

Жоффруа Сент-Илер, никогда не вмешивавшийся в филологические споры, поднял руку.

— Сколько времени потребуется для дешифровки?

Марсель ответил из глубины зала.

— Годы. Возможно, десять. Возможно, двадцать. Иероглифическое письмо не алфавитное. Это не простая замена буква за буквой.

— Но это осуществимо, — сказал Жомар. — Соответствие у нас есть. Остальное — работа.

Военный инженер Шаброль попросил слова.

— Вопрос практический. Если британцы высадятся, этот камень станет их первой целью. Они знают ему цену. Есть ли у нас план?

Зал затих. Никто ещё не формулировал вопрос так прямо.

Монж посмотрел на Денона.

— Оттиски путешествуют, — сказал Денон. — Марсель уже отправил пять в Европу. У нас здесь двадцать пять в запасе. Если британцы заберут камень, дешифровка будет вестись в Париже по копиям.

— А если мы потеряем и оттиски?

— Тогда мы проищем.

Это был неудовлетворительный ответ. Но другого ответа быть не могло. Военную обстановку они не контролировали.

Они контролировали лишь свои собственные научные решения.

Монж составил официальную резолюцию: Розеттский камень будет перевезён в Каир при первой возможности, будет храниться в Институте под постоянной охраной, воспроизводиться оттисками так часто, как потребуется, и изучаться в первую очередь Марселем и Рэжем. Резолюция была принята единогласно.

Денон остался после заседания. Он помогал расставлять стулья, когда вошёл Фурье с пачкой бумаг.

— Вы видели последнюю депешу Бонапарта?

— Нет.

— Дела обстоят скверно. Бонапарт вернулся из Сирии с изнурённой армией. Клебер в Александрии уже несколько недель требует подкреплений. Ответ запаздывает.

Он поставил стул, который держал.

— А мы открываем ключ к иероглифам, пока армия возвращается из провального сирийского похода.

— Именно так. Мы занимаемся наукой, пока экспедиция рушится.

Сказано это было без горечи. Это было трезвое наблюдение. Военная экспедиция терпела крах. Научная экспедиция только что добилась самого громкого своего успеха. Обе вещи происходили одновременно, в одной и той же стране, под одним и тем же командованием.

Денон вернулся к оттискам. Он разложил их на большом столе Института. Три полосы письма: иероглифы вверху, демотика посередине, греческий внизу. Он провёл пальцем по строке иероглифических знаков. Птицы, змеи, глаза, руки. Формы, которые он сотни раз копировал в Дендере, в Фивах, на Филе. Эти знаки всегда были немые. Теперь им предстояло заговорить.

Он подумал о Бонапарте. Вернувшийся из Сирии в июне, победитель при Абукире 25 июля, втайне готовящий отъезд во Францию, не подозревающий, что его инженеры только что нашли то, чего никто не мог найти две тысячи лет.

5 августа Жомар провёл целый день с оттисками. Он принёс свои тетради с зарисовками из Дендеры и Карнака. На каждой странице были копии картушей, которые он нарисовал за предыдущие месяцы. Овалы, заключающие группы иероглифических знаков. Он всегда предполагал, что в этих картушах заключены имена. Это была общепринятая гипотеза среди путешественников со времён восемнадцатого века.

Теперь, с Розеттским камнем, он мог её проверить.

Греческий текст упоминал имя Птолемей одиннадцать раз. Жомар сосчитал картуши в иероглифической полосе. Он нашёл лишь шесть, но полоса была повреждена. Он записал это соответствие в тетрадь: «Гипотеза: картуш равен имени собственному. Если подтвердится, все картуши на памятниках Египта содержат имена фараонов или божеств». Это было небольшое продвижение. Но это было продвижение. Год назад картуши были загадочными формами. Теперь у них была установленная функция.

Исследования продолжались.

Розеттский камень был открытием. Он не останавливал всего остального.

10 августа в Институт заглянул офицер, чтобы объявить официальные итоги битвы при Абукире 25 июля. Бонапарт разгромил османский десант на абукирском пляже. Десять тысяч янычар убиты или утонули, остальные взяты в плен. Бесспорная победа после неудачи сирийского похода. Восточная армия удерживала Египет. Но каждый знал, что сирийский поход был катастрофой и что Абукир, сколь бы

блестящим он ни был, ничего не менял в коренной изоляции армии.

Денон узнал новость от Клебера, который проезжал через Каир, направляясь к месту своего командования в Александрии.

— Бонапарт возвращается?

— Да. Через несколько недель. Может быть, раньше. Ясного сообщения он не прислал. Но армия отступает. Это точно.

— А потом?

— Потом посмотрим. Либо он укрепит Египет. Либо вернётся во Францию.

Клебер не назвал третий вариант, но он был очевиден: либо он и дальше терял бы людей в бесполезных кампаниях, пока от Восточной армии ничего не останется.

Клебер взглянул на оттиски, разложенные на столе Института.

— Это и есть ваш камень?

— Это он.

— Что в нём сказано?

— Декрет о храмовых налогах. Ничего военного.

Клебер улыбнулся.

— Вы нашли ключ к древнему Египту с помощью текста о налогах. Мне это нравится.

Он уехал в Александрию в тот же вечер. Денону не суждено было увидеть его снова.

12 августа из Розетты пришло сообщение: камень готов к перевозке. Бушар руководил изготовлением усиленного ящика. Военный конвой был организован. Отправление намечено на 14-е.

Денон написал Бушару записку: «Перевозка по реке, если возможно. Избегать тряски на дороге. Если необходима

сухопутная перевозка, максимальная амортизация. Камень не должен треснуть».

Бушар ответил на следующий день: «Речной путь невозможен. Все лодки реквизированы для раненых при Абукире. Сухопутная перевозка с подстилкой из соломы под ящиком. Три дня пути. Прибытие ожидается 17 августа».

Вечером 17 августа конвой въехал во двор Института. Пятнадцать солдат охраны, три телеги. Камень лежал во второй телеге, завёрнутый в холст и притянутый ремнями к ложу из соломы.

Денон, Марсель, Жомар и шестеро солдат сгрузили его. Семьсот шестьдесят килограммов. Понадобились рычаги, верёвки, наспех устроенный пандус. Операция заняла час. В конце концов камень встал на деревянный постамент в главном зале Института, у восточной стены.

Марсель снял холст. Показался чёрный гранодиорит с тремя вырезанными полосами письма.

— Ни одной трещины, — сказал Жомар, осматривая поверхность.

Его установили под масляной лампой, горевшей постоянно. Двое часовых стояли день и ночь. Письменного приказа не было. Все понимали: этот камень не должен исчезнуть.

На следующее утро Денон пришёл взглянуть на камень. Он был один. Институт ещё спал. Лампа отбрасывала жёлтый свет на гранодиорит. Иероглифы бросали маленькие тени в своих углублениях.

Он положил руку на холодную поверхность. Этот жест был бесполезен. Но он всё равно его сделал. Прикоснуться к камню значило прикоснуться к мгновению, когда древний Египет вновь становился доступным.

Однажды кто-нибудь прочтёт этот текст так, как читают греческий. Династии выйдут из молчания. Фараоны обретут голос.

Он убрал руку.

VII – Переговоры, победа и смерть Клебера

Вечером 18 августа Денон случайно увидел, как Бонапарт один пересекает двор Института. Без адъютанта, без охраны. В руке он что-то держал. Книгу, не карты. Он шёл быстро, как человек, который не хочет, чтобы его видели.

Денон наблюдал за ним из дверного проёма. В этой торопливой фигуре было нечто, чего он никогда прежде в нём не видел: спешка, похожая на бегство. Не бегство от опасности. Бегство от положения, ставшего слишком тесным. Египет служил ему ларцом. Ларец стал клеткой.

Он свернул за угол двора и исчез.

Денон подумал о книге, которую тот держал. Что-нибудь о Риме, наверное, или об Александре. Уезжающий человек всегда берёт с собой одни и те же книги.

Час спустя за Деноном пришёл адъютант. Бонапарт днём рассмотрел его рисунки и хотел взять его с собой. Денон свернул рисунки в четыре медные трубки, передал Жомару ключи от своих ящиков и сел в берлину вместе с Монжем и Бертолле. В ту ночь кое-кто видел их отъезд. Другие слышали, как лошади удалялись на север.

На следующее утро новость подтвердилась. Бонапарт уехал во Францию. Он велел доставить Клеберу письмо, передававшее ему командование армией Египта. Монж, Бертолле и Денон уехали вместе с ним. Они сядут на борт одного из двух фрегатов в Александрии в ночь с 22 на 23 августа, а Денон высадится во Фрежюсе 9 октября со своими рисунками. Почти никого не предупредили.

Первая мысль Жомара в то утро была не о Бонапарте и не о Франции. Она была о ящиках. Десяносто шесть ящиков, хранившихся в пристройках дворца Хасан-Кашифа. Семьдесят три официальных и двадцать три без этикеток в

северо-западном углу, всё ещё там, всё ещё безымянные. Без Бонапарта, который отдал бы приказ о военной перевозке, эти ящики оказывались во власти любых будущих военных переговоров.

Он обошёл пристройки до восхода солнца. Ящики были на месте, сложенные, заколоченные, снабжённые этикетками по его системе. Буква, номер, краткое описание содержимого.

Эти предметы происходили отовсюду: из Саккары, Карнака, Дендеры, Долины царей, с рынка Мемфиса, из раскопок Таниса. Одни были изъяты по установленным процедурам. Другие куплены на рынках, следовавших за армией. Третьи попали сюда иными, хуже документированными путями. Вместе они представляли тринадцать месяцев организованного грабежа, случайного грабежа, терпимого грабежа и научного собирательства, категорий, между которыми никто никогда не проводил настоящей формальной границы.

С отъездом Бонапарта различия потеряли силу даже политически. Вместе с ним испарилось оправдание государственного проекта, делавшего изъятие законным. Остались просто предметы, солдаты, учёные. И англичане, которые рано или поздно подойдут.

Он убрал опись и сел на ящик. Вокруг него в полумраке стояли девяносто шесть ящиков. Всё это хотело вернуться во Францию. А пока ничто не могло никуда двигаться.

Клебер теперь командовал армией Египта. Бонапарт не счёл нужным поговорить с ним перед отъездом.

Марсель воспринял это спокойно. У него были его эстампажи, а присутствие или отсутствие Бонапарта ничего не меняло. Жолу спросил Фурье, продолжают ли работы Комиссии. Фурье ответил, что да. Жолу вернулся к своим тетрадам. Жоффруа Сент-Илер поднял глаза от своего

препарата, когда ему сообщили новость, кивнул и продолжил. Это не было безразличием. Это была сосредоточенность человека, для которого предмет на столе важнее всего остального.

— Бонапарт нас использовал, — сказал Жолуа. — Наши рисунки узаконили его завоевание. Теперь, когда он получил то, чего хотел, он уезжает. А мы остаёмся.

Фурье нашёл Жолуа одного в его кабинете в Институте, через три дня после объявления об отъезде.

— Вы работаете?

— Нет.

— Он мог бы нас предупредить, — сказал Жолуа. — У меня семья в Париже. Я обещал им несколько месяцев. Теперь прошло уже тринадцать месяцев. А он вернулся.

Он оставил фразу неоконченной. Это была не ревность. Это было проще и больнее: он во что-то верил, в науку на службе Республики, в Республику на службе науки. Бонапарт использовал это как декорацию. Теперь декорацию убрали.

Комиссия по наукам и искусствам собралась в тот же вечер. Никто её не созывал. Учёные оказались в Институте по какому-то коллективному инстинкту. Там были Фурье, Марсель, Жомар, Жолуа, Жоффруа Сент-Илер и ещё дюжина человек. Конте пришёл последним.

Ситуацию было просто сформулировать: что теперь будет? Бонапарт уехал. Командовал Клебер.

У Клебера были иные отношения с Комиссией. Жомар двумя днями раньше просил у него аудиенции, чтобы обсудить статус коллекций. Клебер ответил, что изучит вопрос.

— «Изучить вопрос» означает, что он о нём не думает, — сказал Жомар.

— У Клебера на руках армия, которую надо содержать, османы, за которыми надо следить, и англичане в Средиземном море, — сказал Фурье. — Коллекции не его приоритет.

— Тогда они должны стать нашим приоритетом, — ответил Жомар. — Если мы сами не решим их судьбу, это сделает кто-нибудь другой.

На столе лежала общая опись девяноста шести ящичков. Её подал Жомар. Каждый читал её молча. Названия храмов, категории предметов, оценки веса. Впервые Комиссия видела всё собранное ею в одном документе.

Никто не сказал того, о чём думали все: что эта опись походила на перечень награбленного не меньше, чем на научный каталог.

— Нам нужно установить очерёдность перевозки, — сказал Жомар. — В случае эвакуации всё отправить не удастся. Необходима иерархия.

— Папирусы и скопированные надписи, — сказал Марсель. — Незаменимы.

Фурье помедлил, прежде чем задать вопрос.

— А двадцать три ящика без этикеток в северо-западном углу склада?

Жомар и Марсель обменялись взглядом.

— Я их отметил, — сказал Жомар. — Я не знаю, кому они принадлежат.

— И я не знаю, — сказал Марсель.

Заседание закончилось без официального решения по этому пункту. Учёные вернулись к своим работам. Опись осталась на столе. Двадцать три безымянных ящика остались в северо-западном углу склада, в темноте, ожидая, пока кто-нибудь решит, чем они были.

Клебер назвал своего предшественника «мелким интриганом» и «трусливым дезертиром».

Военное положение было невыносимым. Французская армия контролировала Египет, но не имела никакой связи с Францией. Английский флот блокировал Средиземное море. Клебер знал, что не сможет ни держаться бесконечно, ни получить подкрепления. Он принял решение, на которое Бонапарт не осмелился: вести переговоры об эвакуации. В декабре 1799 года Клебер направил посланника к османскому великому визирю, стоявшему лагерем в Сирии. Переговоры начались на борту британского флагманского корабля «Тигр» близ Дамьетты. Британским переговорщиком был коммодор Сидни Смит, выступавший как полномочный представитель Короны, полномочия которого адмирал Кит вскоре оспорит. Французскими уполномоченными были генерал Дезе и администратор Пуссьельг. Французские условия были ясны: почётная эвакуация армии с оружием и обозом. Смит согласился заняться неотложными вопросами: эвакуацией раненых и учёных из Египта и перемирием на время прибытия османских уполномоченных. Обсуждения затянулись. Клебер торопил своих переговорщиков скорее заключить соглашение. Но 24 января 1800 года конвенция в Эль-Арише была подписана. Она предусматривала полную эвакуацию французской армии из Египта в течение трёх месяцев, с оружием, обозом и научными коллекциями. Французы должны были постепенно оставлять свои позиции, начиная с востока Дельты и заканчивая Александрией. Каир надлежало эвакуировать не позднее сорок пятого дня. Известие достигло Каира 28 января. В тот день конвенция была официально обнародована. Воздействие на учёных было мгновенным.

— Господа, — сказал Клебер на чрезвычайном заседании Комиссии, — я договорился с османами о нашем возвращении. Через три месяца мы будем во Франции. Обнимите ваши коллекции, вам придётся их разбирать.

Жолуа проводил целые дни, сортируя и упаковывая. Бронзовые статуи, статуэтки из раскрашенного дерева и фаянса, амулеты, папирусы, монеты, украшения. Каждый предмет был внесён в каталог, описан, завернут в лён. Он работал быстро, зная, что время ограничено. Впервые за двадцать месяцев возвращение становилось реальным. Ящики вынесли из кладовых. Этикетки составили. Розеттский камень упаковали в несколько слоёв холста. Фурье, внимательно следивший за переговорами, вернулся в Каир с текстом Конвенции и прочёл его вслух на заседании Института. Когда он дошёл до пункта, гарантирующего коллекции, по собранию пробежал шёпот облегчения.

— Это значит, что Розеттский камень, папирусы, эстампажи, всё, что мы собрали, сможет вернуться во Францию вместе с нами? — спросил Марсель.

— Конвенция это гарантирует, — сказал Фурье. — Разумеется, при условии, что англичане примут её условия.

Фурье составил полную опись: двести семнадцать внесённых в каталог предметов, из которых сто тридцать восемь имели непосредственную музейную ценность, а семьдесят девять — научную, документальную. Он расположил их по порядку приоритета, зная, что если перевозка будет ограничена, придётся выбирать. Приоритет первый: зарисовки Жомара. Незаменимые. Двести килограммов максимум, в водонепроницаемых ящиках. Тетради Жолуа, в медных трубках: ещё пятьдесят килограммов. Приоритет второй: мелкие предметы — *ушебти*, скарабеи, амулеты, папирусы. Лёгкие, с высокой ценностью на килограмм веса. Приоритет третий: эстампажи Марсея. Приоритет четвёртый:

естественнонаучные коллекции Жоффруа, тяжёлые, хрупкие, громоздкие. Приоритет пятый: крупные предметы Института, гранитная статуя, саркофаги среднего размера.

Надежда продлилась пять недель. В марте 1800 года пришла новость. Британцы отказались ратифицировать Конвенцию. Адмирал Джордж Кит Элфинстон, командующий британским флотом в Средиземном море, заявил, что Сидни Смит превысил свои полномочия и что конвенция недействительна. Кит требовал безоговорочной капитуляции. Французы должны были сложить оружие и сдаться в плен. Клебер созвал своих генералов. Он прочёл послание Кита вслух, затем положил его на стол.

— Господа, на подобную дерзость отвечают только победами. Готовьтесь к бою.

Багаж распаковали. Ящики вернулись в кладовые Института. Тридцати трёх не доставало, потерянных или уничтоженных в беспорядке предшествующих месяцев; оставалось шестьдесят три. Этикетки остались наклеенными. Эти предметы больше не уезжали. Пока. До следующего случая уехать или до капитуляции, которая отдала бы их англичанам. Британцы и османы считали Восточную армию слишком слабой, чтобы сопротивляться. Великий визирь Юсуф-паша выступил на Каир с армией от сорока до восьмидесяти тысяч человек, по разным оценкам. В самом Каире население восстало по его призыву.

Насиф-паша, во главе османского авангарда, занял деревню Эль-Матарийя с пятью-шестью тысячами янычар и несколькими тысячами всадников и укрепил свою позицию шестнадцатью орудиями. У Клебера было всего десять тысяч человек. В ночь с 19 на 20 марта 1800 года он переправил их через Нил и расположил на правом берегу реки, причём каждая из четырёх бригад его небольшой армии образовала собственное каре. На рассвете 20 марта

французская армия атаковала близ развалин Гелиополя, примерно в пятнадцати километрах от Каира. Бой длился весь день. Французские каре выдержали все атаки. Французская артиллерия разбила османские линии. К концу дня османская армия рассыпалась. Великий визирь бежал в Сирию с остатками своих войск. Французы насчитали восемьсот убитых и раненых. Османы оставили на поле девять тысяч. Клебер вернулся в Каир и подавил мятеж. Бомбардировка длилась несколько дней. Сотни мирных жителей погибли в боях. 21 апреля город капитулировал. Победа при Гелиополе укрепила положение французов в Египте. Мурад-бей, чьи мамелюки стояли лагерем в пустыне, не приняв участия в бою, подписал в апреле соглашение с Клебером, делавшее его чем-то вроде вице-короля Верхнего Египта. Египет, казалось, как никогда прочно находился в руках французов. Клебер вновь принял обязанности главнокомандующего. Учёные возобновили свои труды. Коллекции остались в кладовых. Никто не знал, как долго это продлится.

— Будем работать, пока можем, — сказал Фурье на еженедельных заседаниях, следовавших за этим. — То, что мы здесь сделаем, нельзя будет отменить.

Клебер вёл переговоры с османами, пытался вернуть армию на родину, потерпел неудачу, возобновил боевые действия. Учёные видели его редко. Он иногда приходил в Институт, выслушивал доклады, уходил в свою ставку.

Военное положение стабилизировалось, не улучшившись. Армия удерживала Египет, но не могла ни наступать, ни уйти. Британцы блокировали Средиземное море. Франция была далеко. Экспедиция превратилась в гарнизон.

14 июня 1800 года утром Клебер провёл смотр греческого легиона, а затем приехал в Каир осмотреть работы во дворце главной квартиры. Прежде чем отправиться туда, он присутствовал на завтраке у генерала Дама, своего

начальника штаба и близкого друга. На этой трапезе собрались члены Института и офицеры. Клебер был веселее обычного. Успех, увенчавший его усилия, развитие французских учреждений, знаки привязанности, которые он получал от населения, рассеяли его обычную холодность. Он был оживлён, любезен, словоохотлив. Никто из окружавших его не предчувствовал, что этот весёлый завтрак станет прощальным пиром.

В два часа пополудни генерал, в сопровождении одного лишь Протена, архитектора армии, направился в свой дворец. Чтобы дойти до него, он шёл по длинной галерее, затенённой густой виноградной лозой, соединявшей жилище начальника штаба с жилищем главнокомандующего. Он беседовал с Протеном об украшениях, которые задумал, и отдавал распоряжения о ремонте главной квартиры и сада, чтобы уничтожить следы от снарядов, оставленные последним восстанием.

Молодой сириец по имени Сулейман аль-Халаби с самого утра прятался в дворцовом саду. Ему было двадцать четыре года, он изучал богословие в мечети аль-Азхар и уже месяц наблюдал за дворцом Клебера. Кинжал он раздобыл в Гизе. В то утро, переодетый нищим, он укрылся возле заброшенной цистерны.

Когда Клебер вошёл в галерею вместе с Протеном, Сулейман вышел из укрытия, подошёл сзади и вонзил кинжал в сердце генерала.

Клебер рухнул, крича: «Ко мне, меня убивают!»

Протен бросился на убийцу с маленькой тростью, которую держал в руке. Он пытался остановить удары и сам получил шесть ножевых ранений. Сулейман оставил его в обмороке, вернулся к Клеберу, уже лежавшему на земле, и ударил его ещё трижды. Первый удар был смертельным. Генерал умер через несколько минут, не успев произнести ни слова.

Тревога разнеслась. Караульные, офицеры, все те люди, с которыми Клебер несколькими часами ранее поднимал тост за Республику, окружили его, пытаясь добиться от него хоть нескольких слов. Они тщетно расспрашивали его. Тело перенесли в покои начальника штаба.

Солдаты обыскали дворец и сады вдоль и поперёк. Двое гидов привели молодого человека, которого застали спрятавшимся под густой опунцией. Протен, придя в себя, несмотря на раны, опознал убийцу. Сулеймана бросили в тюрьму вместе с тремя улемами великой мечети, которые знали о его замысле и не донесли о покушении.

Армию охватило глубокое потрясение, быстро обратившееся в пылкую жажду мести. Весь город пришёл в движение. Лавки закрылись. Французские солдаты, разъярённые, потерявшие голову, ходили по улицам, бросая вокруг угрожающие взгляды. Ночь была тяжёлой.

На следующее утро новость дошла до Института. Фурье созвал немедленное собрание. Шестнадцать учёных собрались в зале, молчаливые. Это молчание не было трауром в обычном смысле. Это было признание того, что в их военном положении что-то изменилось и что человека, терпевшего их присутствие в Египте, больше нет.

Фурье заговорил без предисловий.

— Клебер мёртв. Генерал Меню принимает командование. Мы его не знаем. Клебер понимал приказы Бонапарта о важности научных работ. У Меню нет этой связи с нами.

Жомар добавил:

— Наши коллекции сложены на хранение, наши зарисовки заархивированы. Если Меню решит, что они остаются в Египте или что у них больше нет военного значения, мы потеряем два года работы.

Тогда Марсель медленно произнёс:

— Работа по документированию почти завершена. Теперь важно одно: вывезти всё во Францию. Если предметы разойдутся здесь, их перепродадут на рынках, и всё, что мы сделали, окажется напрасным.

Фурье встал.

— Мы продолжаем. Мы заканчиваем то, что можно закончить.

Учёные вернулись к своим занятиям, не зная, что решит Меню.

Сулеймана аль-Халаби допросили под пыткой. Он признался, что его подстрекал ага янычар османской армии. Свой замысел он доверил четырём улемам мечети аль-Азхар; те пытались его отговорить, но не донесли. Военный суд приговорил всех. Сулейману сожгли правую руку, затем посадили его на кол заживо. Он мучился четыре часа, прежде чем умер. Трёх улемов обезглавили. Четвёртого осудили заочно.

Похороны состоялись быстро. Фурье от имени Института произнёс надгробную речь над героем, которого оплакивали.

Солдаты щедро бросали венки из кипариса и лавра. После публичных похорон небольшая группа, состоявшая в основном из офицеров, незаметно собралась у могилы покойного. Они были членами военной масонской ложи *«Соединённые друзья»*. К ним присоединился один учёный из Комиссии. Хотя он не был офицером, он тоже был франкмасоном и состоял в парижской мастерской *«Совершенное единение»*. Он оказался единственным штатским среди присутствующих. Монж мог бы быть с ними, но бежал вместе с Бонапартом. Они достали фартуки и перевернули их чёрной стороной, предназначенной для траурных церемоний. Трижды хлопнули в ладоши, произнеся

ритуальную формулу: «Скорбим! Скорбим! Скорбим!», за которой тотчас последовала традиционная батарея радости: «Но будем надеяться! Надеяться! Надеяться!» На могилу возложили веточку акации. Их брат отошёл в *Вечный Восток*. Генерал Жак-Франсуа Меню, второй по рангу командующий, руководил масонской церемонией в качестве досточтимого мастера. Он официально принял командование Египетской армией.

Меню принял ислам, взял имя Абдалла и женился на египтянке по имени Зубейда. Офицеры уважали его меньше, чем Клебера. Учёные знали его плохо. Им предстояло узнать его лучше.

ГЛАВА III. ВРЕМЯ УЧЁНЫХ

I – Последние кампании

Смена командования ничего не изменила в работе Института.

Археологические исследования продолжались по всей Дельте и в Нижнем Египте. Коллекции пополнялись и лучше упорядочивались. Научные публикации в *«Египетской декаде»* выходили по-прежнему регулярно.

Генерал Меню обладал характером, радикально отличным от характера своего предшественника. Он утверждал, что управляет Египтом во имя франко-арабского союза, не имевшего никакой политической реальности. Офицеры следовали за ним из дисциплины, а не по убеждению.

Для учёных Меню был одновременно более навязчивым и менее полезным, чем Клебер. Более навязчивым, потому что он стремился направить их труды на темы, казавшиеся ему политически полезными. Менее полезным, потому что его приоритеты полностью расходились с их собственными.

Фурье выработал простую стратегию, чтобы сосуществовать с Меню, не поступаясь собой: связывать его имя с несколькими второстепенными открытиями и публикациями, регулярно подавать ему отчёты, достаточно технические, чтобы быть непонятными, и спокойно продолжать основные работы, не извещая о них главнокомандующего.

— Это дипломатия, — сказал Жомар, когда Фурье объяснил ему свою стратегию.

— Это выживание, — ответил Фурье.

Учёные возобновляли свои исследовательские поездки.

Институт Египта продолжал проводить еженедельные заседания, хотя атмосфера на них отличалась от атмосферы

первых лет. Доклады были менее воодушевлёнными, споры менее живыми. Учёные несли бремя долгого пребывания в стране, чьего разговорного языка они не знали, а тонкостей культуры не понимали.

Фурье старался поддерживать интеллектуальный порыв. Он предлагал темы для коллективных размышлений, организовывал чтения древних текстов, чтобы напомнить коллегам, в каком историческом контексте они работают. Эти усилия не были тщетными. Несколько сообщений, представленных в Институте в эти трудные годы, стали важными научными статьями.

Заседание Института в середине июня стало одним из самых оживлённых со времени отъезда Бонапарта и смерти Клебера.

Фурье предложил намеренно отвлечённую тему — понятие памяти в цивилизациях, — и обсуждение быстро вышло за академические рамки.

Первым выступил Жомар. Ему было двадцать два года, и он обладал раздражающей точностью молодых людей, которые правы.

— Цивилизация, забывающая собственные меры, обречена начинать заново. Древний Египет не забывал своих мер три тысячи лет. Это, вероятно, и есть определение великой цивилизации. Не величие её памятников, а срок, в течение которого она способна передавать знание, не искажая его.

Марсель возразил.

— Памятники как раз и делают передачу возможной. Без Карнака, без пирамид измерения Жомара ничего бы не передали. Материальная основа неотделима от знания, которое она несёт.

— Именно поэтому мы здесь, — парировал Жомар. — Чтобы заменить памятник документом, который легче

путешествует. «*Описание Египта*» можно будет увезти туда, куда храмы не увезёшь.

Фурье слушал, не вмешиваясь. Он думал о том, что станет с их трудами, если армия капитулирует завтра.

— Ваши зарисовки в таком состоянии, что их можно скопировать, если придётся спешно эвакуироваться?

— У меня двойная копия ещё с Александрии. Если корабль пойдёт ко дну, по крайней мере одна версия уцелеет.

Фурье молча посмотрел на него. Этот молодой человек понял, что научная работа во время военной кампании по природе своей непрочна и что единственный ответ на это — избыточность.

— Вам следует сказать это остальным.

— Я сказал. Большинство сочло это чрезмерным.

— Большинство неправо.

Фурье подумал о Гамильтоне. Он по-прежнему не знал его имени, но знал, что тот существует. Кто-то по ту сторону, кто тоже составлял свои списки. Страна, которая приходит с записными книжками, стоит больше страны, которая приходит только с пушками. Двойная копия Жомара была не осторожностью инженера. Это был здравый смысл.

В тот вечер Жомар остался один переписывать свои тетради с измерениями. Перо ровно бежало по бумаге. Город шелестел за ставнями. Муэдзин призывал к молитве. Жомар ничего не слышал. Он переписывал. Он думал порой, что переписывание — единственное, в чём он здесь уверен. Что рисовать и измерять можно с ошибкой, а верно переписывать — без ошибки. Правильная копия переживала оригинал. Вот что было настоящим сопротивлением. Ещё со времён Абукира он понимал: каждое измерение существует в двух экземплярах или не существует вовсе. Первая копия — в полевой тетради, сделанная стоя, на ветру. Вторая — здесь, за столом,

перечитанная, проверенная, сделанная разборчивой. Переживёт именно вторая.

25 июня 1800 года Жолуа снова отправился с Жомаром, Жоффруа и двумя рисовальщиками в Танис, на северо-восток Дельты, чтобы осмотреть остатки древней столицы фараонов двадцать первой династии.

Они обнаружили обширное поле руин. Разбросанные холмы, под которыми спали века наслонившихся друг на друга городов. Гранитные блоки. Обломки статуй. Дельта поглотила то, что песок Верхнего Египта сохранил. Ничто не напоминало Карнак. Ничто не напоминало Дендеру. Это был Египет без декораций. Одна лишь материя, рассеянная, без видимого порядка и всё же устроенная по логике, которую могли бы открыть только раскопки. Со времён греков никто не пытался провести систематическую съёмку, напомнил Жолуа: Геродот упоминал это место, Страбон тоже. «Это потому, что никто не знал, что здесь столько всего можно увидеть», — добавил Жомар. Жолуа рисовал три дня, останавливаясь лишь с наступлением ночи, и составил план всего участка, отмечая положение каждого значительного блока.

У входа на участок торговец древностями ждал со своей сумой. Звали его Сулейман аль-Каббани; он приехал из Каира, узнав, что Комиссия собирается в Танис. Он проделал путь накануне и ждал не кого-то определённого, а того, кто поймёт, что стоит купить.

Жолуа остановился перед предметами. Два из *ушебти* были подлинными, он видел это по патине и надписям. Один он купил.

Из Таниса экспедиция направилась в Бубастис, в двух днях пути к западу. Священный город Бастет, богини-кошки. Руины её храма поражали размерами. Геродот описывал его

как один из самых великолепных в Египте, а ежегодный праздник привлекал огромные толпы, чему можно было поверить, глядя на протяжённость этого места.

Колонны из розового гранита высотой десять метров лежали поваленными на песке, их цилиндрические стволы были разбиты обрушением на несколько частей. Обломки барельефов усеивали землю: процессии жрецов, праздничные сцены, стилизованные божества. Стилль Позднего периода.

Вокруг храма — некрополь священных кошек. Тысячи мумий в известняковых галереях. Та же забота, что и о людях: натрон, пелены, саркофаги из дерева или бронзы.

Вскрыв одну из мумий, Жоффруа обнаружил, что тело замечательно сохранилось: кожа, шерсть, кости, сухожилия остались нетронутыми после двух тысяч лет погребения. Домашняя кошка обычного размера.

Грабители уже поработали здесь. Вспоротые ямы, разбросанные мумии, обрывки пелен, рассыпанные по известняковой земле, как бурый снег.

Грабители в некрополях кошек искали амулеты из фаянса или золота, положенные вместе с мумиями, и маленькие бронзовые саркофаги в форме сидящей кошки с поднятыми ушами и глазами, инкрустированными стеклом. Эти саркофаги имели немедленную рыночную стоимость. Александрийские торговцы уже век перепродавали их европейским путешественникам. Сами мумии, ничего не стоившие после того, как с них снимали амулеты, и обычные известняковые саркофаги, слишком тяжёлые и слишком заурядные, чтобы оправдать перевозку, грабители оставляли. Жоффруа взял шесть хорошо сохранившихся кошачьих мумий. Он завернул их в чистый лён и снабдил этикетками. Для него это были зоологические образцы, древняя египетская фауна, сопоставимая с живыми особями из

зверинца Музея естественной истории. Он подумал о том, что скажет Кювье, увидев их: доказательство неизменности видов, кошка, не изменившаяся за две тысячи лет. И о том, что скажет Ламарк: что две тысячи лет не в счёт в масштабе изменений. Одни и те же мумии служили двум противоположным тезисам. Наука обладала этим свойством: факты не выбирали лагерь. Для грабителей, оставивших их, это были отбросы после извлечения амулетов. Для жрецов Бастет, которые их похоронили, это были приношения богине, предназначенные оставаться здесь на вечность. У одного и того же предмета было три истории, не пересекавшихся между собой.

Жоуа нашёл в некрополе, наполовину зарытый в землю, небольшой бронзовый саркофаг в форме сидящей кошки. Высота — двадцать сантиметров. Хвост обвивал лапы в характерной позе египетских кошек. В косом вечернем свете черты мордочки проступали с точностью, которую не скрывала патина: мышцы щёк, спинка носа, линия сомкнутых губ.

Саркофаг был пуст. Жоуа повертел бронзу в руках. На основании резцом была выбита строка иероглифов. Имя дарителя, вероятно, — той женщины или того мужчины, что принесли эту кошку Бастет в обмен на милость или из обычной набожности. Имя, которое кто-то другой прочтёт позже, если эта бронза когда-нибудь попадёт в Париж. Имя, которое ждало здесь, в земле, со времён двадцать шестой династии.

Он положил её в сумку. Вес — триста граммов. Рыночная стоимость в Александрии — возможно, двадцать пиастров, если найдётся английский покупатель со вкусом к египетским бронзам. Научная ценность — неопенимая, если бронза несёт имя дарителя и это имя когда-нибудь можно будет прочесть. Эти две ценности не совпадали. То, что было драгоценно для археолога, не было таковым для

торговца. И то, что Жолуа был и тем и другим — археологом, который клал в сумку найденное, — не разрешало противоречия. Оно лишь олицетворяло его.

Жоффруа вернулся к Жолуа вечером в лагерь со своими шестью мумиями в ящике. Ночь наступала быстро. Они сели у огня и положили свои находки между собой. Шесть мумий. Бронза. Жоффруа осмотрел мумии, прежде чем закрыть ящик. Весь день он решал, что можно увезти, а что придётся оставить.

— Что ты с ней будешь делать? — спросил Жоффруа, глядя на бронзу.

— Увезти. Нарисовать. Описать. Передать Лувру, когда у него появится египетский отдел.

— А если британцы заберут её при капитуляции?

Жолуа положил бронзу в сумку, под свои тетради. Он не ответил. Они оба это знали. Если капитуляция наступит, бронза отправится в Лондон. В витрину Британского музея. Экспедиция вернулась в Каир 12 августа после семи недель в Дельте. Она привезла рисунки Таниса и Бубастиса — места, разочаровавшие в археологическом отношении, но задокументированные.

— Конте сделал из Египта свою лабораторию, — сказал Жолуа Фурье. — Куда бы мы ни пришли, он наблюдает, экспериментирует, совершенствуется. Возможно, именно он извлечёт из этой экспедиции самую долговечную практическую пользу.

Никола-Жак Конте утвердился как изобретатель экспедиции. Аэростаты, мельницы, производственные мастерские. Этот бывший аэронавт не рисовал храмы, он решал проблемы, которые ставило их исследование.

Другие учёные, менее стойкие перед унынием, свели свою деятельность к минимуму. Некоторые заболели. Хроническая дизентерия, лихорадка, офтальмии, вызванные

песком и солнцем, опустошили ряды Комиссии. Несколько человек умерли в Египте, так и не вернувшись.

Осенью 1800 года Жолуа организовал новые исследования в Восточной пустыне. Места, отличные от тех, которые он обследовал прежде. На этот раз он хотел изучить коптские монастыри, затерянные в скалах пустыни между Нилом и Красным морем.

15 сентября 1800 года Жолуа выступил на восток вместе с Жомаром и тридцатью всадниками охраны. Три дня Восточной пустыни, безводной и скалистой.

Утром 18 сентября экспедиция достигла монастыря Святого Антония, обитаемого с четвёртого века.

Коптские монахи встретили гостей с недоверием и любопытством. Около пятидесяти отшельников в чёрных рясах, живших в крайней аскетической нищете, смотрели на этих парижских учёных так, как смотрят на существ из другого мира.

— Отец мой, — сказал Жолуа настоятелю через Хасана, — мы пришли не затем, чтобы забрать ваши рукописи. Мы хотим лишь скопировать их. Всё останется здесь.

Настоятель выслушал и удалился на час. Он вернулся с условием. Они могут осмотреть библиотеку, но ничто не покинет монастырь без его разрешения.

Библиотека монастыря занимала небольшой сводчатый зал. Коптские рукописи, некоторые возрастом в несколько веков, хранились в деревянных сундуках. Настоятель позволил им рассматривать, но не уносить.

— Посмотрите на эту, — прошептал Жомар. — Двухязычная псалтирь: греческий слева, коптский справа. Строка за строкой. Если сопоставить две колонки, можно начать читать.

Он пролистал рукопись. Коптские буквы — округлые, происходящие от греческих, с семью дополнительными

знаками, заимствованными из демотического, — говорили что-то об этой цивилизации. Ни греческая, ни фараонская, а обе вместе. Язык нёс в себе эту историю.

— Согласились бы вы продать её нам? — сказал Жолуа. — Или позволить её скопировать?

Настоятель покачал головой.

— Эта рукопись вот уже много веков принадлежит нашему монастырю. Наши отцы сохранили её сквозь столетия. Она его не покинет.

Настоятель сказал это со спокойствием человека, которому нет нужды повышать голос.

Жолуа принял условия и три дня копировал коптско-греческую псалтирь. Кропотливая работа, буква за буквой, над текстом, из двух языков которого он понимал лишь один. Он уехал со своей копией и уверенностью, что кто-нибудь позже поймёт, что с ней делать.

Пока он копировал псалтирь, Жомар исследовал окрестные скалы. Он обнаружил пещеры, служившие жилищами отшельникам первых веков, со стенами, покрытыми процарапанными надписями: имена, даты, молитвы.

— Эти пещеры тревожат меня, — добавил Жомар. — Люди жили здесь годами, одни, в молитве. Больше ничего. Какое представление о существовании...

Он на мгновение отложил карандаш. Он думал о надписях, об этих именах, высеченных в скале отшельниками, не рассчитывавшими, что их прочтут. Жомар три года записывал измерения. Различие в побуждении было абсолютным. Различие в жесте — меньшим.

— У этих людей была своя цельность. Их аскеза не была безумием. Это было пари на вечность. Мы заключаем то же пари на науку. Средства различаются, но не накал.

21 сентября экспедиция направилась к монастырю Святого Павла, примерно в тридцати километрах к югу. Библиотека побольше. Жолуа копировал. Жомар измерял.

Экспедиция вернулась в Каир 29 сентября, привезя копии коптских рукописей и несколько предметов христианского искусства, которые монахи согласились продать: иконы на дереве, бронзовые кресты, серебряные кадила. Жолуа составил их каталог.

— Эти коптские предметы — недостающее звено. Копты происходят прямо от древних египтян. Их язык восходит к египетскому языку фараонов. Изучать коптский — значит приближаться к иероглифам снизу.

II – Экспедиции в пустыню

Меню оказался внешне более благожелательным к учёным. Смерть Клебера оставила в коридорах дворца пустоту, которую деятельность учёных заполняла, по меньшей мере на поверхности. Меню предоставлял эскорт, выделял средства, порой участвовал в заседаниях Института.

Весть о смерти Дезе при Маренго дошла до Каира в августе. Жолуа узнал о ней в своём кабинете. Дезе был лучшим спутником этой экспедиции. Тем, кто позволял учёным работать, не торопя их, кто сам смотрел на храмы с вниманием, какого Жолуа не видел ни у одного другого генерала.

Весть пришла с османским курьером, спустя два месяца после событий. Дезе погиб при Маренго 14 июня 1800 года. В тот же день, что и Клебер, за сотни километров от него, ведя в атаку свою дивизию, чтобы переломить ход сражения, которое Бонапарт считал проигранным. Пуля попала ему в грудь. Он умер на месте, в тридцать один год.

Жолуа долго оставался в кабинете, не зажигая лампы. Свет убывал. Он дал ему убывать. Снаружи Каир продолжал свой

предвечерний шум. Голоса торговцев, вдали муэдзин, ровный скрип сакий, вращавшихся в садах. Он искал в своих тетрадах записи, сделанные во время похода в Верхний Египет с Дезе. Две с половиной тетради, исписанные с обеих сторон. Дендера, Фивы, Долина царей, Филе. На полях порой делал пометки Дезе. Не эстетические замечания, а практические вопросы. Сколько времени понадобится, чтобы раскопать это место, сколько людей, чтобы сдвинуть этот блок, насколько этот вид песчаника устойчив к влаге.

Эти пометки раздражали Жоуа в то время. Генерал, задающий вопросы снабжения перед Дендерой, — он находил это упрощенчеством. Он перечитывал эти страницы при свете лампы, листы тихо шелестели на сквозняке от открытого окна. Почерк Дезе был мелким, ровным, с наклоном вправо. Теперь он перечитывал их иначе. Дезе смотрел на то же, что и он, теми же глазами и задавался вопросом об их материальном будущем. Что делать с этими камнями. Как их защитить. Сколько времени они выстоят, если ничего не делать.

Он подумал и о личных тетрадях Дезе. Генерал вёл походный дневник с самого отплытия из Тулона. Жоуа видел дневник в его руках несколько вечеров, после бивака, при свете фонаря. Он не знал, что Дезе туда записывал. Он никогда этого не узнает. Тетради мёртвого принадлежат мёртвому. Эти тетради, должно быть, вернулись во Францию вместе с его личными вещами. Или остались на поле боя. Или достались кому-то. В собственном багаже у Жоуа был перочинный нож, который Дезе одолжил ему в декабре 1798 года и который он так и не удосужился вернуть. Обычный нож, деревянная рукоять, короткое лезвие. Он служил для очинки карандашей уже полтора года. Он не знал, что с ним теперь делать. Оставить себе казалось справедливым. Выбросить казалось невозможным.

Никто не знал, что делают с тетрадами человека, павшего в бою. У Дезе не было коллекции. Не было сумки, набитой *ушебти* и скарабеями. Тетради Дезе разделили судьбу прочих предметов. Подобраны, потеряны, проданы, сожжены. Войны не отличали бумажки офицера от иероглифов храма. Жолуа продолжал организовывать новые исследования. На этот раз места западной Дельты, отличные от тех, которые он обследовал в начале лета. Саис, Буту. Плоские телли, мало видимых памятников.

15 августа он выступил с Жомаром и Жоффруа Сент-Илером. Двенадцать дней по возделанным равнинам, в поисках следов великих фараонских городов севера, а также животных видов, которые изображали барельефы. У него был метод натуралиста: ничего не предполагать, сидя в кабинете. Сначала увидеть. Всё остальное приходит потом.

Через два дня пути они достигли Саиса. Воздух здесь был иным, влажнее, тяжелее, с запахом затопленных полей и белым светом, не имевшим сухости пустыни. От великой столицы фараонов двадцать шестой династии ничего не осталось. Несколько гранитных блоков, разбросанных по полям, использованных местными крестьянами как опоры для своих каналов.

— Этот тельз занимает два квадратных километра, — сказал Жомар. — Две тысячи лет слоистого заселения. Это не раскопанное место. Это целый город, сжатый в холм.

Рисовать было нечего. Ни видимого памятника, ни стоящего храма, ни обелиска. Лишь поверхность холма, его размеры, его высоты, измеренные барометром. А в полях вокруг, в каналах, в стенах деревенских домов — повсюду повторно использованные гранитные блоки. Обломки колонн, куски резных притолок, части архитрава. Феллахи деревни из поколения в поколение пускали их на постройку домов и на устройство каналов на своих полях.

Жомар остановился у берега канала. Блоки были из розового асуанского гранита, отполированные с одной стороны и необработанные с других.

— Мы не можем увезти эти блоки, — сказал Жоуа, глядя на свои наброски. — Они — часть домов, где живут люди. Нельзя разрушить деревню, чтобы забрать камни.

— Эти феллахи — подлинные хранители Саиса. Сами они об этом не знают. Но без их домов эти блоки давно бы исчезли. Они сберегли их, используя заново.

Он взглянул на собственные наброски. Блоки в стенах. Надписи, скопированные строка за строкой. Он сделал то же, что и феллахи, — взял из Саиса всё, что мог, на том носителе, который ему подходил. Они — в граните. Он — на бумаге.

Экспедиция вернулась в Каир 27 августа. Двенадцать дней. Места разочаровывающие, но задокументированные.

В октябре и ноябре Жоуа каталогизировал коллекции. Несколько тысяч предметов, собранных за два года. Статуи, амулеты, папирусы, монеты, украшения, природные образцы. Он составлял карточки, сверял описания, исправлял атрибуты. Работа архивиста после месяцев в поле.

Жоуа случайно обнаружил коптскую мастерскую в квартале Старого Каира, где, как говорили, всё ещё изготавливали папирусы по древним технологиям. Старик и двое его сыновей. Они делали листы, которые продавались торговцам, а те перепродавали их учёным Комиссии как подлинные образцы. Жоуа купил там несколько партий.

Однажды утром он попросил разрешения остаться и понаблюдать за изготовлением.

Изготовление папируса следовало хорошо отлаженному процессу. Нарезать стебли длинными тонкими полосами,

уложить их перекрёстными слоями, смочить, отбить, прессовать несколько дней. Жолуа коснулся пальцем поверхности свежего листа — слегка шероховатого, ещё тёплого, с растительным запахом, какого он не встречал нигде больше. Результат — мягкий лист сливочно-белого цвета — ничем не уступал лучшей европейской бумаге. Технология, которую Жолуа, как ему показалось, узнал на барельефах Саккары, якобы восходила к четырём тысячам лет назад и с тех пор не изменилась ни в одном жесте.

Он рисовал руки старого мастера. Эти руки знали своё дело с детства. Отец научил его, а отца — его собственный отец. Ему не нужно было ничего объяснять. Его руки знали.

— Эту технологию, — сказал Жолуа переводчику, — с каких пор они ею пользуются?

Переводчик задал вопрос. Старый мастер ответил, не поднимая глаз.

— Он говорит, что его научил отец. А отца научил кто-то, кто говорил, что перенял это от древних.

— Древние в данном случае означают фараонов?

Новый вопрос. Короткий ответ.

— Он говорит, что не знает. Говорит, что это неважно. Важно, что руки знают.

Жолуа записал это. То, что знают руки. Телесная передача, жест прежде слов, ремесло прежде теории. Коптский мастер не знал имени изобретателя папируса. Ему это было не нужно. Он умел делать. Жолуа посмотрел на свои руки, на чернильные пятна в складках суставов, на мозоль на правом большом пальце, оставленную годами работы углём. Его руки тоже знали вещи, о которых умалчивали его тетради.

Это была форма памяти, которую «*Описание Египта*» не могло воспроизвести. Гравированные таблицы покажут форму папируса. Но жест рук — точное давление, угол полос, продолжительность сушки, определяемая на глаз, —

всё это никуда не попадёт. Это умрёт вместе с этим человеком и его сыновьями, если только у его сыновей не появятся свои сыновья, пожелавшие учиться.

Он присмотрелся к рукам старшего сына. Они делали в точности те же движения, что и руки отца. Передача состоялась.

Он ушёл с тремя новыми листами и рисунком рук, который позднее вставит в рамку в своей квартире на улице Сен-Доминик. Он подумал о старом торговце каллиграфией с Хан эль-Халили, подарившем ему четвёртый лист в знак приветствия в первый вечер в Каире. Этот жест тоже был передачей. Подарить что-нибудь тому, кто только что прибыл. Эти двое принадлежали к разным мирам. Жест у них был один.

Меню проявлял растущий личный интерес к научным трудам Комиссии. Интерес, который подчинённые порой находили обременительным, поскольку он выражался во вмешательстве в организацию работ и в притязаниях решать, что достойно изучения.

— Генерал Меню хотел бы, чтобы мы уделяли больше времени памятникам исламского периода в ущерб памятникам фараонов, — доложил Жолуа Фурье. — Он утверждает, что исламский Египет политически важнее для наших отношений с местным населением.

— По существу он не вполне неправ, — сказал Фурье. — Но решать, каковы наши научные приоритеты, нам, а не ему.

Они нашли компромисс: несколько учёных, среди них Шаброль и Лансре, посвятили часть времени изучению исламского периода, документируя средневековые мечети Каира и строительные приёмы арабских каменщиков. Эти исследования, включённые в *«Описание»*, сделали его одной из первых серьёзных европейских работ об исламской архитектуре Ближнего Востока.

Тем временем Жолуа продолжал документировать памятники эпохи фараонов. За годы он выработал усовершенствованный метод работы: сначала набросок целого, чтобы уловить общие пропорции, затем подробные обмеры значимых элементов, наконец, копии иероглифических надписей со всеми видимыми несовершенствами, чтобы позднее можно было сравнивать разные версии одного и того же текста.

— Иероглиф, который вы копируете с его трещинами и лакунами, ценнее иероглифа, который вы идеализируете, — объяснял он своим молодым помощникам. — То, что вы видите, — действительность. То, каким, по вашему представлению, он должен быть, — лишь ваша реконструкция. Не смешивайте одно с другим.

Однажды мартовским утром, обходя старый исламский Каир, чтобы зарисовать фасады средневековых домов, Жолуа увидел деталь, которую не забыл. Французский солдат — лет двадцати, в потёртом мундире, с ружьём на плече — остановился перед внешней нишей дома в коптском квартале. В нише стояла бронзовая статуэтка, сантиметров двадцать, сидящая Исида. Старая, несомненно. Пatina была густой и неровной.

Солдат посмотрел на неё. Затем взял. Не колеблясь, не оглядываясь. Сунул в патронную сумку и зашагал дальше по переулку. Пятнадцать секунд в общей сложности. Ниша опустела.

Жолуа остался на месте, ничего не сказав. Над этим солдатом у него не было власти, офицера рядом не было. А будь он сам офицером, что бы он сказал? Что эта вещь принадлежит дому? Что хозяин вернётся? Он не знал, кто там живёт и обитает ли дом вообще. Он знал, что статуэтка стояла в этой нише достаточно долго, чтобы на камне остался более чистый круг от её основания.

Он достал записную книжку и нарисовал пустую нишу. Контур отсутствия. Более светлое пятно там, где годами стояло основание статуэтки. Это было всё, что он мог сделать. Задокументировать то, что только что исчезло. «*Описание Египта*», быть может, будет содержать рисунок подобной Исиды из коллекций Комиссии. Но не этой Исиды. Эта пролежит в солдатской сумке до Александрии, затем окажется на базаре, а затем в марсельской гостиниой, если кто-нибудь купит её в порту.

Он ещё некоторое время стоял там, держа книжку открытой на рисунке пустой ниши. Потом вернулся во дворец по переулкам коптского квартала. В ещё закрытых лавках на порогах играли дети. Он шёл, не доставая книжки, не рисуя. Иногда нужно пройти мимо, ничего не взяв.

III – Земледелие и орошение

Зимой 1800–1801 годов инженеры и агрономы Комиссии занялись египетским земледелием — областью, которую увлечение памятниками до сих пор оттесняло в тень. Больше всего их поразило, насколько хорошо работала эта система. Конте представил свои гидравлические труды Институту на первом же зимнем заседании.

— Египетское земледелие уместается в одной фразе: разлив Нила удобряет поля каждое лето. Всё остальное — каналы, бассейны, механические устройства — лишь организованное управление этим природным фактом.

Он описал оросительные устройства: шадуф — простой журавль с противовесом для черпания воды; сакию — колесо, приводимое в движение быком, для больших объёмов. Две машины, которые любой феллах умел построить и починить из местного дерева и верёвки.

— Шадуф и сакия кажутся примитивными. Но это не так. Местное дерево, растительная верёвка, глина. Это

инженерное дело, созданное для реальных условий, а не для наших учебников.

Конте понимал по опыту, что одна хорошо продуманная простая машина стоит сотни сложных, плохо приспособленных. Египтяне усвоили это за тысячу лет до него.

Он представил технические чертежи сети каналов, которая распределяла нильскую воду по всей пригодной для обработки долине. Гидравлическое древо, разветвлённое на сотни километров и содержавшееся сообща десятками деревень.

— Канал, который не чистят, умирает за три года. Его забивает ил. Здесь это зимняя работа. Сотни людей в воде по пояс. Одна деревня не может содержать большой канал. Именно поэтому египтяне и создали централизованное государство. Гидравлика породила фараоновскую бюрократию, а не наоборот.

Параллельно с ирригацией несколько учёных изучали культурные растения и сельскохозяйственные практики. Жолуа проводил дни в полях, наблюдая сезонные циклы, приёмы вспашки, местные сорта.

— Сегодняшнее египетское земледелие похоже на земледелие Древнего царства, — заключил Жолуа. — Те же растения, те же орудия, те же движения. Четыре тысячи лет не изменили главного.

— Египтянам не нужны были удобрения, — сказал Конте. — Нил приносил их каждый год с эфиопских гор. Они направляли воду на поля, ждали, пока осядет наилок, затем давали ей стечь до посева.

Марсель, не будучи инженером, обнаружил в этом объяснении ключ к пониманию архитектуры фараоновских храмов. Великие святилища почти всегда были ориентированы перпендикулярно Нилу, их главные оси

направлены к реке или по сторонам света в зависимости от сельскохозяйственного календаря. Египетская религиозная астрономия была неотделима от сельскохозяйственного календаря, который, в свою очередь, опирался на циклы Нила.

— Видите ли, храм — не постройка, отделённая от мира природы. Он встроен в сельскохозяйственный и гидравлический ландшафт. Ориентация на реку говорит об источнике жизни. Солнце заходит со стороны пустыни, там, где хоронят мёртвых. Египетская религия — это гидравлическая космология.

— Если применить эту систему к другим илистым рекам — к Нигеру, например, или к Инду, — результаты были бы сопоставимы. Это не местная техника. Это универсальная техника, которую лишь египтяне успели довести до совершенства.

Абдалла ибн Юсуф был *вакилем* гизского канала вот уже шестнадцать лет. Он руководил ежегодной чисткой семи километров главного канала и его ответвлений, координировал работу четырнадцати деревень, разрешал споры феллахов о распределении воды.

В то утро двое инженеров Комиссии расположились на берегу его главного канала. Высокий худой с инструментами. Другой — с руками, испачканными чернилами. Они рисовали, измеряли, переговаривались. Переводчик, которого они привели, был не слишком хорош. Он переводил слова, но не смысл. Абдалла понимал это по тому, как тот запинаясь на технических терминах. Хороший переводчик слов не ищет.

Он наблюдал за ними целый час с другого берега, скрываясь в прибрежном тростнике. Он хотел понять, что они ищут. Они измеряли ширину канала, высоту берегов, уклон дна. Он видел это по жестам высокого худого с его визирным

прибором. Это были не солдаты. Солдаты оглядывали бы окрестности, а не канал. Эти люди смотрели только на канал. Высокий худой подошёл к нему. Через переводчика он спросил, сколько рабочих дней составляет ежегодная чистка, сколько людей, как распределяются бригады между деревнями. Вопросы *вакиля*.

Абдалла отвечал обстоятельно. Он знал, что эти французы записывают всё. Высокий худой записывал его ответы с такой скоростью, которая говорила, что он понимает сказанное, хотя переводчику приходилось нелегко. Когда Абдалла объяснил систему очередей на чистку — каждая деревня отвечает за свой участок, смена раз в три года, — высокий худой кивнул так, как кивают инженеры, когда что-то подтверждает то, что они уже предполагали.

Абдаллу смущало не любопытство французов. Смущало то, что они обращались с каналом как с предметом. Как с чем-то, что можно измерить, описать, поместить в книгу, а потом понять. Абдалла шестнадцать лет учился тому, что канал не сводится к своим замерам. У него были настроения. В годы сильного разлива он выходил из берегов в местах, где никогда прежде не выходил. В маловодные годы обнажал трудные участки, которых никто не видел тридцать лет. Чтобы совладать с этим, нужна была память — память, которую передал ему отец и которую он передаст сыну, — а не визирные приборы.

Он оставил их работать. Они ничего не брали. Ничего не трогали. К концу утра высокий худой показал ему свой рисунок канала, точный поперечный разрез с отметками в цифрах. Абдалла посмотрел на него, ничего не сказав. Всё было верно. Это был канал. Но там не говорилось, почему левый берег на третьем километре непрочнее правого и как по цвету воды чувствуешь, будет ли ил в этом году хорош или слишком песчан. Рисунок показывал канал. Он знал канал.

Он указал им через переводчика две точки на канале, где измерения были бы интереснее. Точки, которые показал ему отец и важность которых он не умел объяснить. Он это чувствовал, и только. Высокий худой пошёл туда не колеблясь. Должно быть, нашёл что-то интересное, потому что провёл на каждом по два часа.

К концу дня, перед уходом, высокий худой спросил его — по-прежнему через переводчика, — сколько времени длится обучение *вакиля*. Абдалла ответил: всю жизнь. Переводчик перевёл. Абдалла хотел бы добавить, что обучение никогда не кончается, потому что и канал никогда не перестаёт меняться, и что мудрость *вакиля* — в том, чтобы знать, что неизвестное ему по-прежнему больше известного.

Жоуа вернулся в Каир с семьюдесятью двумя мешочками ила и страницами гидрологических замеров. Он думал об этом *вакиле* канала, о том, как тот наблюдал за их работой с другого берега, о его точности в ответах на вопросы, о том, как он указал две точки на канале. Это был не человек, покорно сносивший французов. Это был человек, который рассчитывал. Он подумал о собственном взгляде на эту страну: в мерах, в отметках, в поперечных разрезах. В сущности, не так уж непохожий.

— А человек, который управляет этим каналом вот уже шестнадцать лет, что он вам сказал? — спросил Конте днём позже, во время представления результатов.

— Что обучение длится всю жизнь. И что неизвестное ему по-прежнему больше известного.

Конте отложил карандаш. Он посмотрел на мешочки с илом, выстроенные на столе. Семьдесят два образца, взятые на сорока километрах, снабжённые этикетками, пронумерованные, готовые к отправке в Париж. Египетская земля в мешочках из французской холстины. Он подумал о том, как Жоуа брал каждый образец, стоя на коленях у канала, погрузив пальцы во всё ещё влажный ил, ощущая его

текстуру прежде, чем измерить. Этого ощущения в мешочках не будет. Оно останется здесь, на берегу канала, в руках, совершавших этот жест.

— С их землёй мы поступаем так же, как с их статуями, — сказал он. — Берём то, что нас интересует, и называем это наукой.

Жоуа не ответил. Разница между тем, чтобы взять ил и взять *ушебти*, была не столь ясна, как ему хотелось бы. И в том и в другом случае что-то покидало Египет.

— Разница, — сказал он наконец, — в том, что можно взять ил, не обеднив поле. Разлив каждый год приносит его вновь. Статуи Нил не возвращает.

— Это практическая граница. Не моральная.

Они помолчали. Снаружи, во дворе, слышны были голоса египетских слуг, ровный стук ступки, речь по-арабски; пахло тмином. Эти люди тоже переняли своё ремесло от отцов. Они не отправятся в Париж в холщовых мешочках.

Чистка главного канала началась на третьей неделе декабря. Жоуа спросил Абдаллу, можно ли понаблюдать. Абдалла согласился с выражением лица, которое ничего не говорило.

Бригады работали по деревням, каждая на своём участке. Люди в воде по пояс выдирали со дна ил широкими деревянными лопатами и грузили его в плетёные корзины, которые другие уносили на берега. Ил, сложенный на берегах, будет разнесён по полям. Ничто не пропадало.

Жоуа просидел пять часов, наблюдая. Он пересчитал людей, измерил объём ила, извлекаемого за час, записал глубину участков до и после. Производительность была ровной. Ни лишних движений, ни неразберихи между бригадами. Эти люди делали это с детства. Их движения обладали плавностью того, что усвоено так рано, что уже неотличимо от тела, которое это делает.

В полдень Абдалла подошёл и сел рядом с ним на берегу. Несколько минут он молча смотрел, как Жолуа записывает цифры. Затем заговорил, и переводчик переводил короткими фразами.

— Он говорит, что дед показал ему место, ниже по течению, где дно канала — коренная порода. Когда дно — коренная порода, канал лучше держится в годы сильного разлива. Его отец это знал. Он это знает. Он хотел узнать, знаете ли вы.

Жолуа посмотрел на переводчика, потом на Абдаллу. Вопрос был не праздным. За словами стоял другой вопрос: знаете ли вы, что вы измеряете?

— Нет, — сказал он. — Я не знал. Покажите мне это место. Абдалла встал неторопливо. Они шли вместе вдоль канала двадцать минут. Абдалла остановился перед участком, где дно выходило на поверхность. Тёмная порода, отполированная веками течения, исчерченная линиями минеральных отложений. Жолуа опустился на колени. Достал нож и осторожно поскрёб поверхность. Плотный известняк. Канал был прорыт здесь по естественному выходу породы. Кто-то три тысячи лет назад выбрал это место по этой причине.

Жолуа отметил место, сделал набросок породы с её бороздками. Абдалла наблюдал за ним. Когда Жолуа закончил, он сказал нечто, что переводчик смог перевести не сразу.

— Он говорит, что французы записывают то, что египтяне делают испокон веков. Что, возможно, это полезно. Но что запись не заменяет того, что это делали тысячу лет.

Жолуа закрыл блокнот. Это было справедливо. Он не нашёл, что ответить.

Вечером Абдалла проводил Жолуа до окраины деревни, где французская колонна разбила лагерь. Они шли рядом молча, переводчик следовал в нескольких шагах. Солнце стояло

низко над западной пустыней, свет был длинным и жёлтым на полях, уже освободившихся от отступившей воды.

Абдалла остановился. Он некоторое время смотрел на поля, затем сказал нечто, что переводчик передал так: в углу ближайшего поля — он показывал пальцем — лежит груда известняковых блоков, которые он нашёл, чистя канал прошлой зимой. Блоки с надписями. Он не умеет читать знаки. Он сложил их там, потому что не знал, что с ними делать.

Жоуа пошёл посмотреть. Четыре блока белого известняка, размером с дыню, сваленные в углу у берега. На каждом были рельефные иероглифы хорошей работы. Административная надпись, по-видимому, или votive formula эпохи Нового царства. Блоки происходили из разобранного храма, были повторно использованы в стене, а затем упали в канал.

Жоуа зарисовал их. Затем занёс в свой журнал, указав точное местоположение и описание знаков. Он взял самый маленький из четырёх — три килограмма, одна грань с надписью и три необработанные — и положил в свою полевую сумку.

Абдалла наблюдал за ним. Он ничего не сказал. Он показал эти блоки, потому что они казались ему важными, а не потому, что ожидал, что их заберут. Но француз сначала зарисовал. Это уже отличало его от солдата, который хватал сразу.

— Рисунок останется, даже если блок будет потерян, — сказал Жоуа через переводчика. — Я беру блок, чтобы изучить его в Париже. Если я его не возьму, канал унесёт его в следующем году, и не останется ни блока, ни рисунка.

Абдалла выслушал перевод и пожал плечами — универсальный жест того, кто не убеждён, но у кого нет сил спорить, — затем зашагал обратно к деревне.

IV – Время сжимается

8 марта 1801 года около шестнадцати тысяч британских солдат высадились в Абукире и двинулись на Александрию. Война, которую считали завершённой конвенцией в Эль-Арише, возобновилась. Учёные Комиссии, собравшиеся в Каире, поняли, что их отъезд из Египта отныне будет зависеть от военной капитуляции.

Меню мобилизовал свои войска. Но его люди были разбросаны между Александрией, Каиром и Верхним Египтом. Сосредоточить их вовремя было невозможно. Сражение 21 марта близ Александрии не принесло победы ни одной из сторон. Французы сражались хорошо. Но у британцев было шестнадцать тысяч человек и корабли. Война проигрывалась не за один день. Она проигрывалась с 1 августа 1798 года.

С севера приходили тревожные вести: огромная османская армия под командованием великого визиря Юсуф-паши наступала. Двадцать тысяч османских солдат, усиленных мамелюками. Тиски сжимались. Учёные понимали, что капитуляция неизбежна. Вопрос был уже не в том, будет ли она, а в том, когда и на каких условиях уцелеют их коллекции.

Вечером 14 марта Фурье созвал чрезвычайное заседание Комиссии. Собрались все учёные, находившиеся в Каире. Около двадцати человек сидели вокруг большого стола в библиотеке Института. Снаружи доносились крики торговцев, закрывавших свои лавки.

— Господа, — начал Фурье, — нам нужно подготовить защиту наших коллекций. В договорах о капитуляции обычно оговаривается, что победители вправе забирать имущество, принадлежащее побеждённому государству. Если наши коллекции сочтут собственностью французского государства, британцы получают право требовать их себе.

Наступила тишина. Затем слово взял Жомар.

— Мы должны добиться признания их международной научной собственностью, а не французским военным имуществом. Наши труды принадлежат всеобщей науке, а не какому-то отдельному правительству.

— У британцев есть натуралисты, — сказал Жоффруа. — Комиссар по имени Гамильтон разбирается в древностях. Они будут знать в точности, что у нас есть.

Вмешался Марсель.

— Различие между собственностью учреждения и личной собственностью будет решающим. То, что куплено на наши личные средства, можно защищать как таковое. То, что собрано от имени Комиссии, защитить будет труднее.

Разговор продолжался три часа. Учёные наметили основные линии своей стратегии. Они не станут противиться изъятию силой. У них не было ни средств, ни полномочий для этого. Но они будут отстаивать свои права перед британскими комиссарами. Они изложат свои доводы. При необходимости они будут торговаться за каждый предмет.

Ночь на 15 марта они провели за составлением параллельной описи. Официальная опись всего, чем владела Комиссия, и личная опись того, что каждый учёный держал у себя от своего имени. Марсель работал до пяти часов утра. Он раскрыл свой реестр на восемьдесят седьмой странице. Перечитал последние записи. Бронзовая статуэтка Анубиса высотой двадцать два сантиметра, куплена в Хан эль-Халили 3 сентября 1799 года за восемь пиастров у торговца Юсуфа ибн Халиля. Фрагментарный погребальный папирус размером пятнадцать на двадцать сантиметров, куплен у феллаха из Саккары 17 ноября 1799 года за три пиастра. Скарабей из зелёного стеатита, птолемеевской эпохи, куплен на базаре Эзбекия 2 февраля 1800 года за полтора пиастра. У каждого предмета была своя

история. Каждую сделку можно было проверить. В этом была его защита.

Его реестр покупок занимал сто двенадцать страниц, сто шестьдесят две записи со времени первого базара в Александрии, почти три года назад. Каждый предмет, приобретённый на его собственное имя, был записан с указанием даты, места, уплаченной цены и, если оно было ему известно, имени продавца. Этот реестр вёлся с самого начала, с нотариальной тщательностью, потому что Марсель понял ещё в Александрии, что это различие со временем станет важным.

— Устоит ли этот реестр? — спросил Фурье, читавший у него через плечо.

— Устоит в том, что достоверно. Что до остального, устоит, если Гамильтон не станет слишком давить. Комиссар, который хочет забрать всё, всегда найдёт предлог. Комиссар, который хочет быть разумным, примет этот реестр как достаточное доказательство.

— Значит, всё зависит от Гамильтона.

— Да, всё зависит от Гамильтона.

Судьба Розеттского камня особенно тревожила учёных. Это был самый важный предмет из всех, что им удалось найти. Если он уйдёт в Лондон, расшифровка иероглифов станет британской победой. Но Марсель принял меры предосторожности. Год назад он отправил в Париж контурные копии оттисков, снятых им в Розетте. Эти копии дошли. Сильвестр де Саси, крупнейший французский знаток восточных текстов, держал их в руках. Даже если камень уйдёт в Лондон, оттиски останутся в Париже. Расшифровку можно будет вести по копиям.

— Сведения и предмет — не одно и то же, — сказал Марсель.

— Сведения путешествуют. Предмет — нет. Эту битву мы уже выиграли.

В последовавшие недели учёные посвятили себя систематическому копированию своих трудов. Библиотека Института превратилась в копировальную мастерскую. Вдоль стен поставили столы, каждый предназначался для определённого вида документов. Один стол для калек с рисунков. Один для переписывания топографических измерений. Один для расшифровок коптских текстов. Один для ботанических и зоологических описаний.

Работа была кропотливой и изнурительной. Жолуа руководил изготовлением ста восьмидесяти трёх калек с самых важных своих рисунков. Храмы Верхнего Египта, пирамиды Гизы и Саккары, гробницы Долины царей. Он нанял трёх молодых армейских рисовальщиков, умевших держать карандаш и следовать линии. Он показывал им оригинальный рисунок и просил сделать быструю кальку, только контуры, без теней, без лишних подробностей. Главное в архитектурных сведениях должно было сохраниться. Остальным можно было пожертвовать ради скорости.

Эти кальки свернули в бамбуковые тубы и вверили греческому купцу, который обязался отправить их в Париж с первым же нейтральным судном. Жолуа выплатил ему пятьдесят пиастров вперёд и пообещал ещё пятьдесят, если тубы дойдут до места назначения.

— Вы ему доверяете? — спросил Жомар, глядя вслед уходящему каравану.

— Нет. Но выбора у меня нет. Единственная защита — множить отправки. Если одна пропадёт, может быть, дойдёт другая.

Жомар со своей стороны переписал все свои топографические измерения на второй комплект листов. Работа заняла у него девять дней. Он трудился по вечерам, при свете лампы, переписывая цифру за цифрой, угол за углом. Каждое измерение проверялось дважды. Одна-

единственная ошибочная цифра могла обесценить целую серию вычислений. Его тетради заполнялись столбцами чисел, геометрическими набросками, пометками на полях. Эти копии будут храниться отдельно от оригиналов. Если один ящик пропадёт, уцелеет другой.

Жоффруа не мог продублировать свои банки с рыбами. У образца в спирту копии быть не может. Но он зарисовал каждый образец с точностью, достаточной для того, чтобы натуралист мог узнать вид по одному лишь рисунку. Двести сорок видов, один за другим, с подробными пометками о происхождении, размере, отличительных анатомических признаках. Эти рисунки не были искусством. Это были научные документы, холодные, точные, лишённые выразительности. Но они содержали всю информацию, необходимую для определения вида. Если банки будут уничтожены, рисунки позволят по крайней мере сохранить знание, которое в них заключалось.

25 марта в Каир пришла новая тревожная весть. Османская армия великого визиря Юсуф-паши двигалась из Сирии. Её соединение с британскими силами, высадившимися в Абукире, было неминуемо. Каир вот-вот окажется в кольце.

Фурье в тот же вечер созвал учёных.

— Господа, нам нужно ускорить нашу программу копирования. Всё, что можно скопировать, должно быть скопировано быстро. Потом будет поздно.

Темп нарастал. Работали от рассвета до полуночи. Масляные лампы горели непрерывно. Запах чернил и бумаги наполнял коридоры. Учёные работали парами: один диктовал, другой писал.

8 апреля работу прервало происшествие. Жомар переписывал серию угловых измерений, снятых в Дендере, когда локоть задел чернильницу. Чернила растекались по листу. Три часа работы пропали. Он смотрел на

испорченную страницу, на чёрное пятно, пожиравшее цифры. Затем взял новый лист и начал снова. Цифра за цифрой. Угол за углом. Жоффруа, сидевший за соседним столом, поднял глаза. Они обменялись взглядом. Без слов. Просто понимание того, что работа будет продолжаться, что бы ни случилось. Военных писарей привлекли на помощь в копировании административных документов.

Библиотека напоминала средневековый скрипторий. Скрип перьев по бумаге, шелест переворачиваемых страниц, шёпот между переписчиками. Порой приглушённое ругательство, когда клякса портила почти законченную страницу. Тогда приходилось начинать всё заново.

В апреле Жолуа отправил вторую партию калек с торговым караваном, уходившим в Александрию. Он снова заплатил начальнику каравана пятьдесят пиастров вперёд. Это была осторожность, а не паранойя. Корабли тонули. Ящики падали с повозок. Пожары опустошали склады. На дорогах рыскали воры. Единственной защитой было копирование и умножение путей доставки.

Параллельно с копированием учёные вырабатывали свою юридическую стратегию для столкновения с британскими комиссарами. Они составили список предметов, которые будут защищать в первую очередь. Розеттский камень во главе, за ним большие саркофаги, монументальные статуи, натуралистические коллекции Жоффруа, картографические съёмки Жомара, тетради Жолуа. Для каждой категории они подготовили доводы, основанные на различии между собственностью учреждения и личной собственностью, между собранными предметами и созданными произведениями.

Марсель сформулировал доктрину, которая будет определять их защиту: рисовальные тетради — не диковинки, а рабочие инструменты. Оттиски — не древности, а бумага и чернила, изготовленные самими

учёными. Научные приборы — профессиональные инструменты, а не военные трофеи. Натуралистические образцы принадлежат царству природы, а не какому-либо отдельному государству.

— В договорах написано, что победители могут забирать природные и искусственные диковинки, — сказал Марсель. — Нам предстоит доказать, что наши труды не диковинки. Это научные произведения.

— Британцы захотят забрать всё, — ответил Жомар. — наших доводов не хватит.

— Наши доводы создадут серые зоны, — сказал Фурье. — В этих серых зонах переговоры становятся возможны. Разумный комиссар согласится кое-что оставить. Именно на этом нам и следует сосредоточить усилия.

— А если Гамильтон окажется неразумным? — спросил Жоффруа.

— Тогда мы потеряем всё. Но по крайней мере мы попытались. И копии уцелеют.

Нравственный вопрос о грабеже также обсуждался. На заседании в апреле Жомар поднял проблему, тревожившую всех, хотя никто не решался сформулировать её ясно.

— Мы собрали предметы трёх различных видов. Во-первых, научные наблюдения. Измерения, рисунки, записи, которые мы сделали сами. Эти наблюдения принадлежат нам бесспорно. Во-вторых, натуралистические образцы, которые мы собрали в природе. Рыбы, растения, минералы. Эти образцы не принадлежат никому в частности, и наш сбор никого ничего не лишает. В-третьих, предметы, извлечённые из археологических памятников. Гробницы, храмы, некрополи. Эти предметы принадлежали Египту. Мы их взяли.

Вмешался Жоффруа.

— Различие ясно в теории. На практике всё сложнее. Феллахи, грабящие гробницы, чтобы продавать нам вещи, ограбили бы их всё равно. Наше присутствие лишь ускорило процесс, который уже существовал.

— Это не оправдание, — ответил Жомар. — Это смягчающее обстоятельство. Это не одно и то же.

Жоуа, молчавший во время всего спора, наконец заговорил.

— Вопрос не только нравственный. Он практический. Если мы признаем, что эти предметы принадлежат Египту, у нас не останется никаких доводов, чтобы защищать их от британцев. Если мы объявляем их своими, мы должны принять то, что это означает. Мы их взяли. Мы их сохраним. И мы опубликуем наши труды, чтобы оправдать это присвоение. Это наша единственно возможная последовательность.

Фурье кивнул.

— Вопрос, — сказал Фурье, — не в том, правы мы были или нет, взяв эти предметы. Это обсуждение академическое. Вопрос в том, что нам делать теперь. Эти предметы у нас. Британцы будут на них претендовать. Считает ли кто-нибудь из вас, что мы должны уступить их добровольно, во имя нравственных принципов?

Никто не ответил. Вопрос был задан, но ответ был очевиден. Ни один учёный в этом зале не был готов добровольно отдать труд трёх лет.

— Значит, мы согласны, — сказал Фурье. — Мы будем защищать наши коллекции. Но будем делать это, зная, почему. Не только потому, что это наши коллекции. Но потому, что мы полагаем, что французская наука использует их лучше, чем британские военные.

Марсель добавил ещё один важнейший довод.

— А если британцы используют их лучше нас? Британский музей — серьёзное учреждение. Их учёные компетентны.

Наш довод о научном превосходстве держится, только если мы действительно опубликуем наши труды. Если наши коллекции окажутся в ящиках в Париже на двадцать лет, британцы будут правы, что забрали их у нас.

— Это важное замечание, — признал Фурье. «*Описание*» должно быть опубликовано. Это будет оправданием всего, что мы здесь сделали.

12 мая из Александрии прибыл курьер. Французский офицер, находившийся в отпуске, привёз новости: британцы официально потребовали у генерала Меню полный список древностей, собранных Институтом Египта. Фурье прочёл письмо дважды. Это была уже не гипотеза. Британские комиссары придут с чёткими требованиями. Гамильтон, вероятно, уже подготовил свою опись.

В мае военные новости уточнились. Британцы, укрепив свои позиции в Александрии, медленно продвигались вглубь страны. Османы наступали с северо-востока. Сближение этих армий под Каиром было неотвратимо. Речь шла уже лишь о нескольких неделях.

Учёные приложили ещё больше усилий. Время действительно сжималось. Каждый день приносил новые ограничения, новые срочные дела, новые решения, которые нужно было принимать. Что копировать в первую очередь? Что оставить? Как распределить ограниченные ресурсы — бумагу, чернила, время, внимание — между проектами, которые все казались одинаково срочными?

Именно в такие минуты становилось заметно различие между учёными. Одни паниковали, хотели спасти всё, начинали десять копировальных проектов одновременно и не заканчивали ни одного. Другие, как Жомар, сохраняли свой метод, расставляли чёткие приоритеты и держались их, не разбрасываясь.

Фурье наблюдал за всем этим с особым вниманием. Он делал записи. Не о предметах, а о людях. О том, как каждый реагировал на давление. Кто сохранял ясность ума. Кто терял её. Эти записи никогда не пригодятся в *«Описании Египта»*. Но они помогут ему много лет спустя точно написать предисловие к *«Описанию»*: он не только измерил Египет, но и наблюдал за теми, кто его измерял.

В конце мая Фурье зашёл в мастерскую после полуночи. Лампы всё ещё горели. Трое переписчиков работали молча, склонившись над своими листами. Один переписывал топографические измерения. Другой снимал кальку с рисунка храма. Третий переписывал ботанические описания. Фурье остановился в дверном проёме. Он думал о том, что решалось в этой комнате. Если британцы заберут всё, эти копии будут тем, что останется. Сведения переживут предметы. Возможно, в этом, в конце концов, и была настоящая победа.

В начале июня было созвано последнее собрание. Вражеские армии находились уже в нескольких днях пути от Каира. Капитуляция была неминуема. Учёным предстояло сделать последние распоряжения.

Жолуа составил окончательную опись своих туб 20 июня. Двадцать три медные тубы, содержавшие две тысячи восемьдесят семь рисунков. Двести тридцать семь тетрадей с записями. Сто восемьдесят три кальки уже отправлены. Список он записал на листке, сложил его вчетверо и сунул в карман куртки.

— Господа, — сказал Фурье, — мы сделали всё, что могли. Наши труды продублированы. Наши описи полны. Наши доводы готовы. Британцы придут со своими списками. У нас есть свои. Что будет дальше, зависит от переговоров. Но мы подготовлены настолько, насколько это вообще возможно.

Слово взял Жолуа.

— Мы будем защищать наши коллекции до конца. Не из гордыни, а потому, что труд трёх лет не может исчезнуть в хранилищах британского музея, не послужив науке.

Напряжение было осязаемым. Учёные знали, что ближайшие дни решат судьбу их коллекций. Но знали они и то, что сделали всё возможное, чтобы их защитить.

В последние дни июня Каир был городом в подвешенном состоянии. Французские войска ждали. Учёные ждали. Население ждало. Каждый знал, что что-то должно произойти, но никто не знал, что именно и когда.

V – Поражение в Каире

27 июня 1801 года военное положение стало безнадёжным. Меню, запертый в Александрии, не мог прийти на помощь Каиру. Генерал Бельяр, командовавший гарнизоном, начал переговоры о капитуляции с великим визирем Юсуф-пашой.

Была согласована конвенция. Одна статья, сперва вписанная в британские проекты, потенциально охватывала все коллекции Комиссии. Она будет подписана в сентябре в Александрии под номером шестнадцать.

Статья была краткой. Она уместилась в одну фразу: арабские рукописи, статуи и прочие коллекции, собранные для Французской Республики, будут считаться общественным достоянием и поступят в распоряжение генералов союзной армии. За этой фразой, которую Фурье впервые прочёл вслух на чрезвычайном заседании 28 июня 1801 года, по проекту, переданному британцами, последовала тишина, которую Жолуа позднее сравнил в своём дневнике с тишиной, наступающей после известия о смерти. Затем заговорили все разом. Жоффруа. Марсель. Жомар. Голоса поверх голосов. Фурье поднял руку. Тишина вернулась.

— Прочие коллекции, — сказал Жоффруа. — Это касается моих банок. Три года натуралистических коллекций. Вся фауна Нила. Двести сорок видов, которых никто ещё не описал.

— Прочие коллекции включают мои тетради, — сказал Жолуа. — Двести тридцать семь тетрадей. Единственные полные съёмки храмов Верхнего Египта, когда-либо сделанные.

— Статуи включают Розеттский камень, — сказал Марсель. — Единственный ключ к расшифровке иероглифов, который мы нашли за три тысячи лет.

Фурье перечитал статью. Арабские рукописи, статуи и прочие коллекции. Он искал лазейку в формулировке. Слово «статуи» охватывало колоссы, саркофаги. Слово «коллекции» — папирусы, монеты, банки Жоффруа, гербарии, кости. Были ли рисовальные тетради коллекциями, собранными для Республики? Мог ли рабочий блокнот художника считаться коллекцией в смысле договора о капитуляции? Фурье отложил текст. Перечитал.

Розеттский камень: бесспорно. Эстампажи Марселя — бумага и чернила, изготовленные самим Марселем, — коллекция или интеллектуальное произведение?

— Статья намеренно расплывчата, — сказал Фурье. — Они написали «прочие коллекции», чтобы иметь возможность взять всё. Нам предстоит найти, чего эти слова не охватывают.

Так началась юридическая стратегия, которая займёт учёных в течение следующих пяти дней. Не военное сопротивление. У них не было оружия, и они не сумели бы им воспользоваться. Сопротивление текстуальное. Найти в словах конвенции щели, через которые можно провести свои коллекции. Тетради не были диковинками. Эстампажи не были древностями. Научные приборы были

профессиональными инструментами, а не трофеями. У каждой категории предметов была своя линия защиты.

В дни, последовавшие за прочтением статьи, в переулках вокруг Института произошло нечто любопытное. Торговцы из Хан эль-Халили начали приближаться. Не обычные торговцы тканями и пряностями. Другие, те, кто торговал древностями уже много лет, те, кто умел читать по жестам европейских покупателей, что они хотят купить, прежде чем те сами это осознали.

Сулейман аль-Каббани — тот самый, что год назад приходил в Танис со своей холщовой сумой — явился к дверям Института утром 30 июня с деревянным ящиком. Внутри лежали двадцать два *ушебти* из расписного известняка, пять скарабеев из голубой фаянсовой пасты, три золотых амулета позднего периода. Он поставил ящик на стол привратника и сказал через мальчишку, служившего переводчиком: «Обычная цена. Пока англичане не забрали всё».

Марсель, проходивший мимо случайно, осмотрел содержимое ящика. *Ушебти* были подлинными, фиванского периода, восемнадцатой или девятнадцатой династии, расписной известняк с ещё яркими пигментами. Скарабей были из качественного фаянса. Золотые амулеты были настоящими.

— Откуда эти предметы? — спросил он.

Мальчишка перевёл. Сулейман аль-Каббани ответил без колебаний: из Фив, из гробницы чиновника, найденной прошлой зимой феллахами, которые копали, чтобы расширить свой погреб. Он их купил. Теперь он перепродавал их, потому что знал, что Комиссия покидает Египет, а британцы, менее сведущие, заплатят меньше.

Марсель купил весь ящик. Цена: сорок пиастров. Он составил расписку, датированную 30 июня, в своём личном

реестре. Двадцать два *ушебти* вошли в личную опись Марсея, а не в коллекции Института, и потому, теоретически, не попадали под статью шестнадцатую. Местный рынок работал именно так: он предугадывал изъяны договоров и приспособлялся к ним ещё до того, как они становились известны.

Ответ Жоффруа был иным. Он не искал юридической лазейки. Он искал соотношение сил.

Жоффруа написал на имя генерала Бельяра письмо на одну страницу. Сдержанное, без лиризма. Он объяснял в нём, что его натуралистические коллекции представляют собой три года не имеющей равных полевой работы, что двести сорок видов фауны Нила и Дельты ещё не были описаны европейской наукой и что, если британские комиссары их изымут, он готов скорее уничтожить их, чем уступить.

— Это не эмоциональная угроза, — сказал он Фурье, когда тот прочёл черновик. — Это информация. Я сообщаю им, что произойдёт, если статью применяют буквально к моим коллекциям.

— Они вам поверят?

— Я сожгу их раньше, чем они решат, верить мне или нет.

Фурье сложил черновик. Жоффруа не из тех, кто блефует. Он провёл три года в этой стране, выбираясь из галерей на коленях, с руками в грязи, сам переносил свои банки со спиртом в жару. Он обдумал эту угрозу, прежде чем написать её. Не порыв, а решение. Если эти банки уйдут в Лондон, они будут пылиться в подвале, и открывать их будет тот, кто не поймёт, почему *Polypterus bichir* важен. Лучше уж пусть их не будет. Если у него отнимут коллекции, он их сожжёт. Потому что это был единственный ответ, согласующийся с тем, что он думал о своей работе: что она принадлежит ему, а не армии, которая её финансировала.

— Отправляйте письмо, — сказал Фурье.

С той ночи, когда французский флот сгорел и затонул у Абукира, учёные знали, что отрезаны от Парижа. Ни одного французского корабля в портах. Курьеры отправлялись ненадёжными сухопутными дорогами, через Константинополь и Вену, и добирались за полгода.

Начиная с 1799 года некоторые стали отправлять пакеты на нейтральных судах — датских, шведских, американских, — заходивших в Александрию ради торговли зерном. Эти суда британцы не досматривали: они господствовали на море, но права захвата нейтральных судов у них по-прежнему не было.

Фурье отправил таким образом, на датском бриге в октябре 1799 года, рулон бумаги с тридцатью листами лингвистических заметок о коптском языке. Его первый опыт грамматики. Когда он вернулся в Париж в 1801 году, эти тридцать листов ждали его в Институте, слегка заплесневевшие, но вполне читаемые.

Марсель действовал иначе. В марте 1800 года он поручил одному знакомому мальтийцу сделать две контурные копии с эстампажей Розеттского камня. Не сами эстампажи, расстаться с которыми он отказывался, а контурные кальки, снятые с эстампажей. Эти копии прибыли в Париж в июле 1800 года, где их немедленно изучил Сильвестр де Саси. Это был первый раз, когда европейский востоковед увидел точное воспроизведение надписи на Розеттском камне.

Жоуа попытался отправить связку рисунков на американском судне в январе 1800 года. Судно было перехвачено британским фрегатом у берегов Крита и обыскано. Бумаги Жоуа были конфискованы, изучены, а затем возвращены. Британцы пришли к выводу, что это художественные зарисовки, не представляющие военного интереса. Но урок был ясен: отправки на нейтральных судах ненадёжны.

Тогда Жолуа принял другой метод. Все важнейшие документы — его самые значительные рисунки, обмеры Марсея, измерения Жомара — копировались в двух экземплярах. Оригинал оставался у учёного. Копия уходила с первой же оказией. Дойдёт копия — хорошо. Будет перехвачена — оригинал уцелеет.

Жомар изложил эту логику в записке Фурье: Комиссия находится в положении солдат, которые перед боем зарывают боеприпасы в нескольких местах. Если первый склад будет захвачен, останется другой. Документы были их боеприпасами. Ценой захвата становилась потеря года работы, а не всей работы.

Дублирование сработало для большинства партий. Но не для всех. Две тетради Жолуа, отправленные на шведском судне в 1800 году, так и не дошли до Парижа. Их дубликаты уцелели. Что стало с оригиналами, так и не узнали. Потоплены в море, захвачены, затерялись в круговороте левантийской торговли.

Эти две пропавшие тетради содержали около двухсот рисунков области Дельты. Саис, Бубастис, Танис — места, которые Жолуа посетил летом 1800 года и которые ему не суждено было увидеть вновь. Их копии, менее подробные, вошли в *«Описание Египта»* со сдержанной пометкой: по копиям, оригиналы утрачены.

Это было единственное публичное свидетельство о тех потерях. В своих мемуарах Жолуа никогда о них не упоминал.

Здесь, как видел Фурье, крылась фундаментальная асимметрия между тем, что французы брали у Египта, и тем, что британцы возьмут у французов. Французы брали предметы — камни, бронзу, папирусы — и копии этих предметов. Британцы, когда придёт капитуляция, возьмут предметы. Но не копии. Копии были бумагой и чернилами.

В описях мирного договора они не имели никакой цены. Они не украшали залы музея. Их не выставляли в витринах. Эту асимметрию Фурье ясно сформулировал на одном из заседаний Института:

— Они возьмут оригиналы. Мы сохраним копии. Копии и есть настоящая добыча.

Он сказал это стоя, перед ящиками, не колеблясь. Но он не сказал — и сформулирует лишь годы спустя, в заметках к «*Описанию*», — что эта асимметрия не была случайной. Предосторожность побеждённого, принятая ещё до поражения. Это, пожалуй, была единственная форма стратегического ума, которую учёные по-настоящему проявили с самого начала. Но, усевшись после речи, он спросил себя, правда ли это или просто то, что люди рассказывают себе, чтобы вынести то, чему не смогли помешать.

У них было пять дней.

Пять дней между подписанием капитуляции и выступлением колонны. Мало, и никто этого не говорит.

То, что эти люди делали в течение пяти дней, не походило на то, к чему они готовились. Они готовили доводы — списки, записки, юридические различия между диковинкой и производением, между личной собственностью и коллекцией Института. Но на деле они работали молча. Ни заседаний. Ни споров. Каждый в своих кладовых, у своих ящиков. Разговоры, которые всё же случались, были короткими и деловыми: какая верёвка, какой вес на колесо, сколько слоёв холста для банок.

Это были самые тихие пять дней экспедиции.

Одним вечером Фурье зашёл к Жолуа и заговорил с ним о длинной цепи, пронизывающей историю. Римляне, лишившие Египет обелисков, крестоносцы, разграбившие Византию, короли, наполнявшие свои кабинеты редкостей.

У каждой эпохи свои оправдания. А жертва оставалась неизменной. Жолуа выслушал. По существу он ничего не ответил. Фурье ушёл. Разговор состоялся потому, что должен был состояться. Он ничего не изменил.

Изменило кое-что другое: утром пятого дня, когда повозки были готовы, никто не отдавал приказов. Люди сами вышли во двор, сами построились, сами заняли места в колонне, и их никто об этом не просил. Впервые за три года учёные вели себя как солдаты.

Запах дерева, клея и спирта стоял в коридорах Института, когда колонна начала строиться во дворе. Жолуа в последний раз прошёл по залам. На стенах оставались следы коллекций, три года занимавших столы. Круги пыли там, где стояли банки, меловые линии там, где Жомар закреплял свои листы с измерениями. Дыры от гвоздей в балках, на которых подвешивали мумии для анатомических зарисовок. Жолуа вышел во двор. Колонна ждала. Повозки были нагружены. Выючные животные пыхтели в утреннем зное.

Жолуа в последний раз проверил, хорошо ли закреплены его сумки на боку выделенной ему лошади.

Египет, который сохранит Франция, уместался в том, что человек мог увезти в седле. То, что она взяла у Египта, оставалось здесь, в ящиках, которые британцы вскроют через два месяца. Он перекинул ремень сумки через плечо. Сигнала колонны он ждать не будет. Он первым выехал со двора.

VI – Марш к Александрии

2 июля началась эвакуация Каира. Тринадцать тысяч солдат, двести гражданских, все учёные Комиссии выходили из города колонной. Некоторые оглядывались назад. Большинство смотрело вперёд.

К концу дня османский патруль преградил колонне дорогу. Двадцать турецких всадников в форме под командованием бея, говорившего по-французски. Они пришли из лагеря великого визиря.

Генерал Дама выехал вперёд один, чтобы поговорить. Бей спешился. Разговор длился десять минут. Учёные, собравшиеся в центре колонны, не могли слышать, но видели жесты. Бей указывал на север. Дама показывал бумагу, вероятно, конвенцию о капитуляции, подписанную с британцами.

Фурье подошёл так близко, что мог расслышать. Он услышал, как бей сказал по-французски:

— Вы покидаете Каир. Это хорошо. Но ваши ящики остаются в Египте.

Дама ответил что-то, чего Фурье не разобрал. Бей настаивал:

— Эти предметы принадлежат Египту. Вы взяли их из наших храмов, из наших гробниц. Они не уйдут.

— Сударь, мы подписали конвенцию с британскими властями. Именно с ними вам и следует обсуждать эти вопросы.

Он сделал знак своим всадникам. Двадцать копий поднялись. Дама не шелохнулся.

— Если вы попытаетесь остановить эту колонну, вы объявите войну одновременно Франции и Великобритании. Не думаю, что Константинополь вам это приказывал.

Бей колебался. Он посмотрел на ящики на повозках, на тринадцать тысяч французских солдат, развёрнутых в боевом порядке, затем на пустой горизонт позади себя. Османских подкреплений не было видно.

Он снова сел на коня.

— Мы проводим вас до Александрии. Для присмотра.

— Как вам будет угодно.

Турецкий патруль два дня следовал за колонной на расстоянии ста метров. Всадники ни с кем не разговаривали. На рассвете 5 июля они исчезли. Дама предположил, что они вернулись с докладом к великому визирю.

Жоула в тот вечер спросил Фурье:

— Думаете, они вернутся?

— Османы? Нет. Они знают, что потеряли Египет. Они хотят выяснить, действительно ли мы его опустошили. Теперь они это знают.

— И что тогда?

— Тогда они подождут, пока британцы заберут у нас напши ящики. А потом потребуют те же предметы у британцев. Это проще, чем отнимать их у нас.

Жоула кивнул. Логика была неумолимой.

Учёные шли в середине колонны, их багаж ехал на повозках. Они были рады избежать опасности, печальны оттого, что покидают Египет, и встревожены за коллекции.

Двигались небыстро. Тринадцать тысяч солдат с повозками в песке — это медленное продвижение, ритм которому задавали остановки и перераспределения груза, когда животное начинало хромать или колесо увязало.

Жоула большую часть пути шёл пешком, чтобы поберечь лошадей. Всякий раз, когда животное спотыкалось о камень или о ямку в песке, он слышал, как тубусы глухо стучатся в сумках, и оборачивался.

Главной заботой Жоффруа была жара, действовавшая на его банки со спиртом. Стекло расширяется от жары, спирт тоже, но не в одном темпе. И если расширение вызовет микроскопическую трещину, спирт испарится, а экземпляры за несколько дней придут в негодность. Каждую банку он обернул двумя слоями влажной ткани, которую его

помощники обновляли на каждой остановке, расходуя свои запасы воды.

— Вы переводите воду, — сказал ему офицер, заметивший эти приготовления.

— Эти экземпляры нельзя заменить. А воду — можно.

Офицер отошёл, не настаивая. В июльском зное, среди людей, страдавших от жажды, довод не убеждал. Но Жоффруа продолжал.

На четвёртый день один из ящиков Жомара соскользнул с повозки при проходе через дюну и приоткрылся в песке. Люди остановились. Жомар спрыгнул с лошади, отстранил солдат, пытавшихся помочь, и осмотрел свитки один за другим. На трёх из них в складках воцёной ткани виднелись лёгкие следы песка. В бумагу не проникло ничего.

Жомар заново заколотил ящик и велел погрузить его иначе, плашмя, с дополнительной верёвкой.

— Вам повезло, — сказал Фурье, наблюдавший всю сцену.

— Это не везение. Это верёвка.

На закате 6 июля двое гвардейцев привели в лагерь дезертира. Молодой человек лет двадцати, судя по выговору, уроженец Лиона, бежавший из Каира за три дня до эвакуации. Его нашли спрятавшимся в пальмовой роще, голодного, с окровавленными ногами.

Генерал Дама велел привести его в свою палатку. Фурье, проходивший неподалёку, слышал допрос.

— Почему ты дезертировал?

— Я хотел остаться в Египте, мой генерал. Не возвращаться во Францию.

— Остаться зачем?

— Работать. Жениться, может быть. Здесь я могу жить. Во Франции я вернусь на фабрику.

Дама долго смотрел на него, ничего не говоря.

— Ты знаешь, что бывает с дезертирами?

— Да, мой генерал.

— Знаешь и всё равно дезертировал?

— Мне двадцать три года. Я провёл здесь три года. Я выучил арабский. Теперь я знаю Каир лучше, чем Лион. Что мне делать во Франции?

Дама велел вывести дезертира и позвал адъютанта. Фурье услышал приговор: тридцать ударов плетью, затем возвращение в строй. Без казни. Дезертира привязали к колесу повозки. Плеть щёлкнула тридцать раз. Человек не закричал.

На следующее утро он шагал со своей ротой, спина под рубашкой была исполосована красными рубцами. Жоффруа, обладавший медицинскими познаниями, дал ему бальзам.

— Приложите это вечером. Это уберёжёт от заражения.

— Спасибо, сударь.

— Почему вы на самом деле дезертировали?

Солдат помедлил. Затем сказал:

— Потому что я не хочу видеть, что произойдёт в Александрии. Наши открытия отдадут англичанам. Я носил ящики господина Жомара в Фивах. Я видел, что мы измеряли, что рисовали. И теперь всё отдают. Я бы предпочёл остаться здесь.

Жоффруа ничего не ответил. Солдат вернулся к своей роте. В тот вечер Жоффруа пересказал этот разговор Марселю.

— Этот парень понял то, чего многие офицеры ещё не понимали. Мы возвращаемся не победителями. Мы возвращаемся ограбленными.

— Он понял. И получил за это тридцать ударов плетью.

— Да. Это тоже форма понимания.

Дезертир шёл с колонной до самой Александрии. Фурье позднее узнал, что после капитуляции тот поступил в британскую колониальную пехоту. Во Францию он так и не вернулся.

7 июля песчаная буря обрушилась на колонну, когда она остановилась на привал в одной из деревень Дельты. Солдаты укрывались как могли в брошенных домах или под опрокинутыми повозками. Песок налетал не с одной стороны. Он шёл отовсюду разом, вихрем со всех четырёх сторон горизонта, ища щели, открытые рты, приоткрытые глаза. Люди закрывали лица плащами и дышали сквозь ткань. Лошади поворачивались крупом к ветру, закрыв глаза и сжав ноздри. Верблюды опускались на колени и ждали, терпеливые и безразличные, словно ждали песчаных бурь испокон веков, что было недалеко от истины.

Учёные накрыли свои ящики одеялами и наспех сооружёнными навесами и два часа удерживали эти укрытия против ветра, судорожно вцепившись в ремни, которые рвали порывы. Песок проникал повсюду. В одежду, в глаза, под пробки. Жолуа одной рукой держал лошадь, другой придерживал одеяло на своих сумках, повернув лицо к шее животного, чтобы дышать.

Жоффруа перемещался от ящика к ящику, выкрикивая указания, которые ветер уносил раньше, чем они достигали адресата. Он понял с самого начала марша, что банки со спиртом — слабое место его коллекции. Единственное место, где физическая поломка могла безвозвратно уничтожить три года труда. Намокший тубус Жолуа — это смазанные рисунки. Засыпанный песком свиток Жомара — это измерения, восстановимые небольшим трудом. Но разбитая в ящике банка, спирт, растекающийся по другим банкам, соприкосновение с фонарём — и вся коллекция

фауны Нила уходила в дым. Он велел погасить все фонари на пятьдесят метров вокруг. Работали в абсолютной темноте, на ощупь, узнавая ящики по форме и по тому, как они отзывались на удары кулаком.

Его помощники — двое молодых студентов Политехнической школы, плохо переносившие жару пустыни на протяжении всего пути, — той ночью работали без жалоб. Каждый ящик проверен, каждый ремень затянут, каждая пробка осмотрена в темноте. Когда буря стихла около четырёх часов утра, руки Жоффруа всё ещё судорожно сжимали ремень последнего ящика.

Утром подвели итог: сорванная пробка на одном тубусе Жолуа, три листа с чуть расплывшимися чернилами, одна банка с рыбой с микротрещиной у основания. Экземпляры переложили в запасную банку, которую Жоффруа взял с собой именно на такой случай.

Это была не случайность. Это была предусмотрительность.

9 июля около полудня колонна встретила обоз коптских беженцев, бежавших в Александрию. Около тридцати семей с ослами, нагруженными узлами, дети, шагавшие босиком по песку, старики, которых несли на наспех сделанных носилках.

Их предводитель, священник, говоривший по-французски, подошёл к Дама.

— Мой генерал, мы бежим от расправы. С тех пор как французы покидают Каир, османские ополченцы жгут наши церкви. Мы идём в Александрию, чтобы встать под британскую защиту.

Дама приказал раздать воду. Священник отказался.

— Берегите воду для ваших солдат. У нас есть колодцы в двух часах пути отсюда. Но скажите мне, будут ли британцы защищать христиан, когда вы уйдёте?

— Не знаю, отец мой. Это не моё дело.

— Это было вашим делом, когда вы обещали нам свободу веры в 1798 году. Теперь вы уходите, а мы остаёмся.

Дама не ответил. Священник вернулся к своему обозу.

Марсель слушал этот разговор. Он сказал Фурье:

— Мы многое обещали, когда прибыли. Освобождение египтян от османского ига. Конец угнетению коптов. Модернизацию страны. Мы уходим, оставляя Египет в точности таким, каким нашли. Хуже, быть может.

— Но кое-что мы всё же оставляем. Измерения Жомара. Рисунки Жолуа. *«Описание Египта»* будет опубликовано.

— Да. Мы оставляем книги. А они остаются с расправой.

Коптские беженцы продолжили путь на север. Французская колонна — на северо-запад. Обе группы разошлись на развилке дороги.

Жомар, не проронивший ни слова за всё время разговора, спросил священника, прежде чем тот удалился:

— Ваша каирская церковь, церковь Святого Сергия, она сгорела?

— Нет, сударь. Пока нет. Но сгорит.

— Откуда вы знаете?

— Потому что она горит всегда. Каждые двадцать лет, каждые тридцать. Такова история Египта. Вы были здесь лишь проездом.

На восьмой день марша они прошли через деревню, жители которой бежали. Закрытые дома, пустые улицы, запах горячего хлеба из пекарни, брошенной всего несколько часов назад. Колонна не остановилась. Солдаты шли, глядя прямо перед собой.

Несколько солдат отделились от колонны. Две минуты спустя они вышли из одного двора. Один нёс глиняный кувшин высотой в метр. Внутри позвякивало что-то

металлическое. Офицер вернул их. Кувшин бросили на обочине дороги.

Жолуа остановился. Он поднял кувшин. Внутри лежали семь бронзовых монет Птолемеев, три скарабея из фаянса и амулет Упуата из расписного известняка. Домашнее сокровище семьи, бежавшей и оставившей то, что не могла унести.

— Что с этим делать? — спросил Жомар.

Жолуа осмотрел монеты одну за другой, перевернул их, мысленно датировал. Птолемей IV или V, судя по профилю. Скарабеи были хорошей работы. Амулет Упуата был из тщательно расписанного известняка, глаза обведены красной охрой.

Жолуа положил всё обратно в кувшин. Он поставил его у подножия стены ближайшего дома, в тени. Там, где хозяин найдёт его по возвращении, если вернётся. Место было выбрано намеренно. Не на обочине дороги, где его подберёт кто-нибудь другой, а под защитой стены, в ямке, которую Жолуа слегка выдавил каблуком сапога, чтобы кувшин не покатился.

— Идём дальше.

Они догнали колонну. Кувшин остался у стены.

В последний день перед Александрией они впервые за три года увидели Средиземное море. Несколько солдат закричали. Учёные смотрели молча. Свет на воде отличался от света на песке. Холоднее, подвижнее, тот средиземноморский синий, который Жолуа пытался написать при отплытии из Тулона три года назад и не нашёл нужного цвета.

— Море, — сказал Фурье.

Эти слова ничего особенного не говорили. Фурье хотел сказать: а теперь британцы.

13 июля утром, примерно в двадцати километрах от Александрии, двое британских офицеров верхом догнали колонну. Они прибыли из лагеря генерала Хатчинсона с подписанным предписанием: досмотреть французский багаж перед входом в город.

Дама принял их с ледяной учтивостью.

— Господа, мы войдём в Александрию с опечатанными ящиками. Досмотр состоится после официальной капитуляции генерала Меню, не раньше.

Британский лейтенант, молодой человек лет тридцати по фамилии Торнтон, настаивал:

— У нас приказ проверить, что вы не везёте боеприпасов и военного снаряжения. Это формальность.

— Формальность, которая подождёт подписания конвенции. До тех пор мои повозки не открываются.

Торнтон посмотрел на ящики, выстроенные на повозках. Он видел номера, нарисованные на боках: I, II, III... до LXIII. Шестьдесят три ящика под брезентом.

— Генерал, если вы откажетесь от досмотра, мы можем задержать ваш вход в Александрию на несколько дней.

— Задерживайте. Мы разобьём здесь лагерь и подождём.

Другой британский офицер, постарше, вмешался:

— Лейтенант, оставьте. Это учёные, а не контрабандисты. В их ящиках камни и рисунки. Генерал Хатчинсон это знает.

Торнтон поколебался, затем отдал честь и уехал со своим коллегой.

Фурье спросил Дама:

— Вы думаете, они в самом деле нас задержат?

— Нет. Они хотели увидеть нашу реакцию. Узнать, есть ли нам что скрывать. Теперь они знают, что мы будем защищать наши ящики.

— И это хорошо?

— Смотря как. Если Гамильтон — переговорщик, то да. Если грабитель, то нет.

Колонна возобновила марш. В одиннадцать часов на горизонте показались стены Александрии. Британские фрегаты стояли на якоре в порту. Дым их кухонь поднимался прямо в безветренное небо.

В ту ночь они разбили лагерь в двух часах пути от Александрии. На горизонте были видны огни города. Ещё не очертания, лишь низкое, рассеянное сияние. В первые недели экспедиции такой свет на горизонте означал бы город, который предстоит занять, карту, которую надо составить, работу. В эту ночь он означал Гамильтона.

При свете низко опущенного фонаря Фурье перечитал первые страницы записки Жомара. Довод был прочен. Не он мешал Фурье уснуть. Его мучил вопрос, есть ли у Гамильтона простор для толкования его инструкций. Дипломат со строгими инструкциями не слушает доводов. Он фиксирует их и пересылает в Лондон. Дипломат с запасом свободы может дать себя убедить. У Фурье не было никакой возможности узнать это, пока Гамильтон не окажется перед ним.

С тех пор как они стали лагерем, Жоффруа дважды проверил свои ящики. Пробки держались. Оставалось только спать. Жомар записал в блокноте перечень предметов, классификацию которых он намеревался отстаивать как научные инструменты. Не как курьёзы, подлежащие изъятию. Тридцать две позиции. Он закрыл блокнот и уснул.

Жоуа остался сидеть снаружи, когда костёр в лагере погас. Небо было ясным. В его сумках лежали тетради. Завтра британцы, Гамильтон, записка, споры о том, что кому принадлежит и по какой статье.

Колонна вошла в Александрию 14 июля 1801 года. Двенадцать дней пути от Каира. Меню всё ещё удерживал город, осаждённый британцами, которые ждали его капитуляции. Учёных разместили в портовых складах, их ящики громоздились вокруг. Снаружи фрегаты стояли на рейде. Обсуждения коллекций не состоятся теперь. Они состоятся после капитуляции Меню, когда британцы смогут их потребовать. Семь недель они ждали. Меню вёл переговоры. Британцы терпеливо ждали. Учёные берегли свои ящики.

ГЛАВА IV. КРУШЕНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ

I – Великие древности

3 сентября 1801 года, на следующий день после подписания конвенции о капитуляции Александрии, британский комиссар Уильям Ричард Гамильтон явился в штаб-квартиру, где были расквартированы французские учёные, в сопровождении Эдварда Дэниела Кларка, антиквара, назначенного генералом Хатчинсоном для проведения физического осмотра коллекций.

Гамильтон, секретарь лорда Элгина, двадцати четырёх лет от роду, получивший в Кембридже образование в области классических древностей, координировал дипломатические переговоры. Кларку поручили опознать и переписать французские коллекции предмет за предметом. Они прибыли с секретарём и двумя солдатами, несшими чистые реестры.

Жолуа и Фурье официально представляли Комиссию на этих переговорах. Жомару поручили защищать картографические съёмки и измерительные приборы. Он предвидел все возражения противной стороны.

Накануне первой встречи с Гамильтоном он переработал в юридических терминах записку, составленную в апреле. Он трудился всю ночь. Предвидеть — значит готовиться к тому, чтобы не оказаться жертвой обстоятельств. Этому он научился в Политехнической школе. В Египте он убеждался в этом всякий раз, когда надо было защищать оспариваемое измерение. Юридические и математические доводы подчинялись одной и той же логике: выигрывают заранее, а не во время спора. Новая редакция выделяла три категории предметов.

Во-первых, древности в строгом смысле слова, предметы, существовавшие до экспедиции и находившиеся в Египте

независимо от какого-либо французского труда. Категория, подлежащая изъятию без обсуждений.

Во-вторых, интеллектуальные продукты: измерения, вычисления, наблюдения, рисунки, выполненные членами Комиссии. Эти труды не существовали, пока не были созданы. Их нельзя было приравнять к найденным предметам.

В-третьих, серая зона: научные инструменты, привезённые из Франции. Ни древности, ни интеллектуальные продукты, а рабочие орудия, изъятие которых лишило бы Комиссию способности работать в дальнейшем.

— Эта записка очень ясна, — сказал Фурье, читая её. — Вопрос в том, окажется ли Гамильтон восприимчив к её ясности.

— Если нет, — добавил Жомар, — значит, его инструкции обязывают его игнорировать юридические различия. И тогда никакой довод не подействует.

— Вы пессимист.

— Нет. Я точен.

Фурье улыбнулся.

Кларк вошёл во двор склада. Он остановился посреди двора, медленно повернулся вокруг себя и, обведя двор взглядом, пересчитал ящики. Шестьдесят три. Плюс неупакованные предметы. Статуи, саркофаги, колонны, сложенные у северной стены. Его помощник, молодой кембриджец по имени Джон Мартен Криппс, достал блокнот и принялся делать записи. Он отмечал всё. Число ящиков, их примерные размеры, состояние верёвок, которыми они были обвязаны.

Жолуа наблюдал за Кларком, который наблюдал за коллекциями. Впервые британец видел всё, что Комиссия собрала за три года. Кларк ничего не показывал. Ни

удивления, ни удовлетворения. Он считал. Сначала сосчитать, потом оценить, затем вести переговоры.

— Господа, — сказал Кларк, повернувшись к Жоуа и Фурье, — в соответствии со статьёй шестнадцатой конвенции о капитуляции, подписанной 2 сентября, я уполномочен вступить во владение арабскими рукописями, статуями и прочими коллекциями, собранными для Французской Республики, отныне являющимися общественной собственностью и находящимися в распоряжении генералов союзной армии.

Наступившая тишина длилась три секунды. Жоуа медленно положил реестр, который держал в руках.

— Всё целиком, господин Кларк? Вы имеете в виду каждый предмет, каждый рисунок, каждый образец, что мы собрали за три года?

— Так говорит статья шестнадцатая.

— Статья шестнадцатая, — ответил Жоуа резким голосом, — говорит о коллекциях, собранных для Республики. Не о наших интеллектуальных трудах. Не о наших научных инструментах. Не о коллекциях, которые некоторые из нас приобрели на собственные деньги.

Кларк открыл свой реестр на первой странице. Гамильтон, стоявший чуть поодаль, вмешался прежде, чем Кларк успел ответить.

— Господа, — сказал Гамильтон, — никто не оспаривает, что вы трудились. Никто не оспаривает ценность ваших трудов. Но условия капитуляции ясны. Господин Кларк осмотрит ваши коллекции предмет за предметом. Вы будете иметь возможность изложить свои доводы по каждой категории предметов. Мы слушаем. Мы рассудим справедливо.

Слово взял Фурье. Его голос был спокойнее голоса Жоуа, но не менее твёрд.

— В таком случае, господин Гамильтон, давайте установим порядок работы. Мы предложим классификацию предметов по нескольким отдельным категориям. Вы рассмотрите наши доводы категория за категорией. Мы не откажем ни в каком осмотре. Но мы требуем, чтобы каждое изъятие было обосновано.

Гамильтон кивнул.

— Это разумно. Господин Кларк?

Кларк закрыл блокнот.

— Я принимаю эту процедуру. Но предупреждаю вас, что мои инструкции строги. У меня нет никакой свободы толковать статью шестнадцатую шире того, что в ней прямо сказано.

Жолуа скрестил руки.

— А у нас, господин Кларк, нет ни малейшего намерения позволить вам конфисковать три года нашей жизни без обсуждения каждого предмета.

В течение трёх недель, что длилось противостояние с Кларком и Гамильтоном, всякий раз, когда спорный предмет требовал научной экспертизы — карта, съёмка, инструмент, — звали Жомара. Он говорил мало, показывал свои документы, отвечал на вопросы с такой скупостью, что сбивал с толку Кларка, привыкшего к более риторическим доводам французов. Эта роль подходила ему лучше, чем он мог предположить. Переговоры, как он обнаруживал, не так уж отличались от измерения. Надо было держаться фактов, не уступать того, что нельзя проверить, и знать, в какой момент молчание лучше слова.

— Ваш коллега грозный противник, — сказал Кларк Жолуа однажды вечером. — Он ничего не уступает и ничего не переоценивает. Это редкость на переговорах.

— Он математик.

— Это заметно.

Утром 4 сентября Кларк вернулся в сопровождении нескольких помощников и приступил к осмотру коллекций Института. Гамильтон присутствовал в качестве наблюдателя.

Первой рассмотренной категорией стали великие монументальные древности. Розеттский камень, саркофаги из гранита и базальта, колоссальные статуи, барельефы, снятые с храмов. По этим предметам французские учёные не могли выдвинуть ни одного убедительного довода в пользу личной собственности, поскольку эти памятники были обнаружены Комиссией.

— Мы не оспариваем ваше законное право на великие древности, — сказал Фурье. — Мы лишь хотим, чтобы история сохранила память о том, что их обнаружила французская Комиссия. А не британская армия.

Гамильтон кивнул.

— Даю вам слово, что Британский музей признает: эти древности были обнаружены вашей Комиссией.

Кларк составил опись крупных древностей, Гамильтон заверял каждую запись в реестре. Жолуа, стоя рядом, смотрел, как уходит каждый предмет.

Сначала Розеттский камень.

Найден в июле 1799 года французскими солдатами, копавшими укрепления в Розетте, вделанный в фундамент форта, использованный вторично как строительный материал. Царский декрет 196 года до нашей эры, высеченный тремя видами письма: иероглифы вверху, демотика посередине, греческий внизу. Этот греческий, который можно было прочесть. То, что оставалось расшифровать.

Кларк внёс Розеттский камень в реестр изъятий. Его упаковуют в ящик в момент фактической передачи.

Марсель смотрел, как Кларк пишет в своём реестре. Перо царапало бумагу сухим, окончательным звуком. Каждая буква была гвоздём в крышку гроба. «Розеттский камень. Чёрный базальт. Трёхязычная надпись. Изъят на основании статьи 16, Александрийская конвенция, сентябрь 1801 года».

Марсель ничего не сказал. В июле 1799 года, когда был найден камень, он провёл две ночи подряд лёжа на спине, с поднятыми над головой руками, похлопывая влажной бумагой, чтобы сделать оттиски. Плечи болели у него неделю. Пальцы долго пахли типографской краской, смешанной со скипидарной смолой. Этот едкий, липкий запах, который не уходил, даже когда он трижды мыл руки.

У него оставалось двадцать пять полных оттисков в плоском ящике, надёжно переложенных листами промокательной бумаги. Остальные были разосланы по всем концам Европы. Каждый знак, каждая трещина, каждая неровность поверхности воспроизводились с точностью, которой лучший рисовальщик никогда не мог бы достичь. Кларк мог забрать камень. Марсель твёрдо решил сохранить текст.

Жомар, стоявший рядом, сжимал кулаки. Костяшки его пальцев побелели. Он не смотрел на камень. Он смотрел на Кларка.

Фурье же делал заметки. Он уже прикидывал, что можно будет выторговать взамен этой первой уступки. Потеря здесь, выигрыш там.

Жоуа наблюдал за Кларком с бесстрастным выражением шахматиста, только что потерявшего пешку, но сохранившего свой план. Он уже мысленно смирился с тем, что камень уйдёт. Главным было не сохранить его. Главным было спасти то, что ещё можно было спасти. Рисунки.

Тетради. Оттиски Марсея. Коллекции Жоффруа. Именно там развернётся настоящая битва.

Кларк поднял глаза от реестра.

— Камень будет упакован при фактической отправке в порт. До тех пор он остаётся здесь под британской охраной. Господин Криппс, поставьте двух человек.

Марсель отвернулся. Он не хотел видеть, как британские солдаты несут караул перед Розеттским камнем. Это было мелочно с его стороны. Но он не мог удержаться.

Этот камень он трогал. Он знал на нём каждую шероховатость, каждую крупницу поверхности. Он знал, где тот чуть более гладкий, там, где древние руки тёрли его, быть может, жрецы, читавшие его две тысячи лет назад. Он знал, где тот шершавый, там, где его раскололи, а затем использовали в фундаменте османского форта.

Жоуа на миг закрыл глаза. Его нашли люди Бушара, с него сделал оттиски Марсель, его занесли в реестры Комиссии. Через несколько дней четверо солдат армии Его Величества присвоят его.

Это не отличалось от того, что Франция сделала в Италии. Это не отличалось от того, что делали до неё римляне. Цепь была длинной.

Затем Кларк записал в своём реестре: «Розеттская стела, чёрный базальт, передана британским силам, сентябрь 1801 года. Обнаружена французской экспедицией в 1799 году».

Жоуа наблюдал. Обнаружена. Не взята. Не вынута из стены. Обнаружена.

Затем саркофаг Нектанеба II, последнего фараона Египта из коренных египтян, правившего с 360 по 342 год до нашей эры. Зелёная брекчия была холодной. Жоуа положил руку внутрь во время своего первого посещения, туда, где покоилось бы тело. Дно было гладким, ровным, мягким, как металл. Гробница, сделанная, чтобы принять мёртвого, так

и не пришедшего в неё. Его правление было прервано вторым персидским нашествием. Неизвестно было ни где он умер, ни было ли возвращено его тело. Этот саркофаг, вероятно, приготовили до его бегства, и он никогда не служил. Найден в Александрии в мечети, где использовался как бассейн. Декор на крышке и стенках воспроизводил разделы Амдуата, ночного путешествия солнца через двенадцать часов преисподней. Жолуа копировал эти самые сцены в Долине царей. Встреча с ними здесь вызвала у него странное чувство. Те же боги, то же путешествие, высеченные для царя, у которого так и не нашлось времени умереть в этом саркофаге.

Кларк осмотрел его. Он спросил о весе.

— Более трёх метров в длину, несколько тонн, — добавил Жомар.

— А историческое значение?

— Это гробница, приготовленная для последнего фараона Египта. Она никогда не служила. Это, без сомнения, самый трогательный предмет всей нашей коллекции. Пустая гробница для бежавшего царя.

Кларк записал в реестр без комментариев.

Была там и статуя верховного жреца Амона из серого гранита, в натуральную величину, со сложенными перед собой руками, в вечной позе божественного слуги, той, что Жолуа видел воспроизведённой десятки раз в храмах Верхнего Египта. Колоссальный кулак из гранита, фрагмент царской статуи, остальная часть которой так и не была найдена. Жомар прикинул, что полная статуя должна была достигать двенадцати-пятнадцати метров. Один кулак доходил до плеча стоящего человека.

Затем стелы, памятные надписи из известняка и базальта с царскими картушами и иероглифическими текстами. Общий вес был значительным.

— Эти предметы, — заявил Гамильтон, — будут храниться в Британском музее и сделаны доступными для учёных всего мира. Ваш научный вклад будет признан. На табличках будет указано: «Обнаружено французской экспедицией, передано британским силам при капитуляции Александрии».

Утро 4 сентября решило вопрос о крупных древностях. Розеттский камень был внесён в реестр. Саркофаг Нектанеба II, статуя верховного жреца Амона, стелы — всё было внесено в реестр Кларка. Оставалось защищать остальное. Жолуа был измотан прошедшими неделями, но одушевлён решимостью, которую закалили годы экспедиции.

— Я готов обсуждать всё. Но предупреждаю вас, что не приму ни одного изъятия без предварительного обсуждения каждой категории предметов. У нас есть время. Капитуляция даёт нам недели до эвакуации.

Гамильтон, молча следивший за обменом репликами, вмешался. Он предпочитал переговоры грубой конфронтации. Кларк изучит вопрос и сам рассудит спорные пункты. Обе стороны изложили свои исходные позиции, определили пункты согласия и пункты разногласий и условились о рабочем графике. Так начался самый долгий и самый сложный из споров о разделе культурного наследия между двумя нациями.

Во дворе за складом Розеттский камень ждал под британской охраной. Всё решилось за одно утро. Два тысячелетия, одно утро.

Вечером 4 сентября французские учёные собрались в комнате, примыкавшей к складу. Помещение с низким потолком, обставленное столом и несколькими разномастными стульями. Снаружи слышно было

британских солдат, стоявших на карауле. Ровное лязганье оружия о портупей.

Фурье задал вопрос, который никто не хотел произносить.

— Крупные древности потеряны. Розеттский камень, саркофаги, статуи. Теперь надо защищать то, что ещё можно защитить.

Жоуа посмотрел на него, не отвечая. Марсель тотчас вмешался.

— Мои оттиски. Это не подлежит обсуждению. У меня двадцать пять полных оттисков Розеттского камня.

— Естественнонаучные коллекции тоже, — добавил Жоффруа. — Я рисковал жизнью ради каждого образца. Каждая змея, пойманная в пустыне. Каждое насекомое, собранное при сорока градусах жары. Если понадобится, я лягу перед ящиками.

Фурье вздохнул. Он предвидел такую реакцию. Он знал своих коллег. Каждый был убеждён, что его собственный вклад самый важный, самый незаменимый.

— Господа, — сказал он, взвешивая слова, — будем реалистами. Большие предметы ушли. У Гамильтона есть право и сила. У нас есть терпение и хитрость. Предлагаю сосредоточить усилия на том, что ещё защитимо, на том, что незаменимо интеллектуально. Рисунки. Заметки. Рукописи.

Жоуа резко встал. Его стул скрежетнул по полу.

— Нет.

Жоуа стоял, положив ладони ладонями на стол.

— Нет, — повторил он. — Мы ничем не пожертвуем. Мы будем защищать всё. Каждый предмет, каждый рисунок, каждый образец. Кларку придётся обосновывать каждое изъятие. Ему придётся доказывать каждый захват. Мы утопим его в деталях, категориях, юридических

исключениях. Он хочет всё? Ему придётся торговаться за всё. Предмет за предметом.

Жомар кивнул.

— Жолуа прав. Если мы уступим сразу, мы подадим знак, что принимаем сам принцип изъятия. Потом Кларк придёт за остальным. Надо держаться по всем пунктам, уступая лишь тогда, когда сопротивляться больше нельзя.

Жоффруа скрестил руки.

— И что это конкретно значит? Что мы позволим Кларку взять то, что осталось, не сражаясь?

— Именно, — сказал Жолуа. — Мы бьёмся за всё. Теряем то, что должны потерять. Но каждая уступка обойдётся им дорого. Гамильтон запомнит, что мы ничего не отдали даром.

Фурье смотрел на Жолуа. Он понимал эту логику. Это была не стратегия победы, а стратегия достоинства. Они проиграют. Но проиграют стоя, защитив каждый клочок земли.

— Согласен, — сказал Фурье. — Защищаем всё. Но действуем согласованно. Никто не ведёт переговоры в одиночку, в своём углу. Каждый довод проходит через этот стол, прежде чем попасть к Гамильтону.

Остальные кивнули. Марсель заговорил, тише.

— А если мы потеряем всё? Если Гамильтон изымет даже оттиски?

Жолуа снова сел. Он вновь обрёл спокойствие.

— Мы не потеряем всё. Гамильтон не грабитель. Он дипломат. У него есть инструкции, но есть и чувство справедливости. Он уступит в том, что юридически защитимо. Наше дело — сделать наши доводы неоспоримыми.

Последовавшая тишина была согласием. Они были единомышленники. Они будут защищать всё. Вместе.

II – Спасённые коллекции

Личные научные инструменты учёных — астрономические телескопы, геодезические теодолиты, барометры, термометры, точные весы, микроскопы — были без затруднений признаны личной собственностью, не подлежащей изъятию. Гамильтон понимал, что эти инструменты не имеют никакого отношения к древнему Египту и являются профессиональными орудиями учёных. Всё остальное британцы собирались обсуждать до мельчайших подробностей.

9 сентября Кларк осмотрел естественнонаучные коллекции Жоффруа Сент-Илера.

— Господин Жоффруа Сент-Илер, — сказал Кларк, — я получил приказ осмотреть ваши образцы. Прошу вас обеспечить мне доступ к вашим ящикам.

Жоффруа отреагировал иначе, чем Жолуа и Фурье.

— Вы не тронете эти коллекции, — крикнул он, встав между солдатами и своими ящиками. — Я рисковал жизнью ради каждого образца. Каждая змея, каждое насекомое, собранное при сорока градусах. Если вы сделаете ещё шаг, я сожгу всё.

— Вы собирали их как официальный член Комиссии, — сказал Кларк. — Следовательно, они французская общественная собственность, а значит, британская военная добыча. Такова логическая цепочка. Я её не выдумывал.

Жоффруа Сент-Илер отверг этот довод.

— Вы хотите украсть мой труд, чтобы обогатить ваши музеи. Не приложив сами ни малейшего усилия к открытию. Называйте это как хотите. А я называю это кражей.

— Я вам не верю, — сказал Кларк. — Вы не уничтожите три года работы.

Жоффруа понял, что Кларк ему не верит. Он пересёк комнату, открыл один из ящиков с высушенными образцами, достал огниво с трuтом и зажёл его. Пламя было в десяти сантиметрах от сухой соломы.

— Я не блефую. Ещё шаг, и я подожгу. Вы привезёте в Лондон пепел.

Кларк посмотрел на пламя. Натуралисту было двадцать девять лет, и рука его была тверда. Он отступил на шаг. Лучше позволить Жоффруа уйти с его банками, чем вернуться в Лондон с пеплом.

— Ваша страсть вызывает у меня уважение, — сказал Кларк, отступая. — Хотя ваши методы театральны. Всеобщая наука выпирает, если эти коллекции уцелеют во Франции.

— Вы хорошо защитили свои коллекции, — сказал Жолуа Жоффруа Сент-Илеру в тот же вечер. — Ваше первоначальное сопротивление создало прецедент, которому нам, пожалуй, следовало последовать в случае крупных древностей.

— Крупные древности были слишком заметны, слишком эффектны. Мои банки с рыбами не волновали британских офицеров. Иногда быть непонятым — преимущество.

Победа Жоффруа Сент-Илера в вопросе о естественнонаучных коллекциях оказала положительное воздействие на остальные переговоры. Учёные поняли, что твёрдое и аргументированное сопротивление может дать результаты, при условии, что они будут выбирать свои битвы и не изматывать себя на второстепенных пунктах.

Жолуа, ободрённый этим примером, сильнее нажал в вопросе о публикации рисунков Комиссии. Письмо Бонапарта прибыло в Александрию 10 сентября, через восемь дней после подписания капитуляции. Написанное в

Париже весной, оно месяцами странствовало дипломатической почтой через османских посредников. Фурье получил его ближе к полудню, пока Кларк осматривал базальтовые саркофаги.

Оно было коротким. Бонапарт писал как Первый консул, а не как генерал. Титул изменился, тон тоже. Он приветствовал труд Комиссии, выражал уверенность в способности Комиссии защитить коллекции от британских притязаний, сообщал, что *«Описание Египта»* будет опубликовано при полной поддержке консульского правительства, добавляя в последней строке, что Париж ждёт их возвращения.

Париж ждал их возвращения. Фурье прочёл фразу трижды. Это была не жестокость: Бонапарт не знал, чего стоит читать «Париж ждёт», глядя на Розеттский камень под британской охраной. И не равнодушие. Это было будущее, увиденное из Парижа. Настоящее было здесь. Эти два времени не разговаривали друг с другом. Бонапарт не писал: мне жаль коллекции, которые вы теряете. Он не писал: я поступил бы иначе. Он писал: Париж ждёт. Словно всё, что произошло здесь, — три года, погибшие, Розеттский камень, который Кларк только что внёс в свой реестр, — было всего лишь прелюдией к чему-то, что начнётся там.

Фурье сложил письмо и спрятал его в папку с оттисками Марсея. Оно поедет вместе с ним. Он не был уверен, что с ним сделает в Париже. Вероятно, ничего. На письмо Первого консула не отвечают затем, чтобы сообщить, что его формулировка показалась легковесной.

Он вернулся к переговорам. Кларк закончил с саркофагами. Жолуа потребовал свободы публиковать рисунки Комиссии во Франции без ограничений, что равнялось просьбе к Гамильтону отказаться от любого британского контроля над распространением изображений египетских древностей.

Гамильтон колебался. Такая уступка была велика. Но он понимал и то, что отказать Комиссии в праве публиковать собственные рисунки было бы юридически и морально несостоятельно. Он согласился, поставив единственным условием, чтобы копия каждой опубликованной таблицы была отправлена в Британский музей для его архивов.

— Копия каждой таблицы, — сказал Жоуа. — Это не проблема. Нам в любом случае понадобятся многочисленные оттиски для коммерческого распространения.

Это соглашение гарантировало издание коллективного «Описания» и открыло также путь к «Путешествию по Нижнему и Верхнему Египту», которое Денон, вернувшийся во Францию ещё в 1799 году, выпустит в 1802-м, раньше, чем будет готово «Описание», и которое станет первым крупным издательским успехом о древнем Египте.

Вопрос о ботанических гербариях вызвал побочный спор, менее драматичный, чем спор о естественнонаучных коллекциях, но показательный для того, что стояло на кону в переговорах. Ботаники Комиссии собрали гербарии из нескольких тысяч образцов египетской флоры. Растения пустыни, растения Нила, культурные виды из каирских садов.

Кларк захотел изъять половину. Ботаники возразили, что эти гербарии образуют цельные серии и что их разделение значительно снизит их научную ценность. Раздробленный гербарий не позволял проводить сравнительные исследования, которые делал возможными полный гербарий.

Гамильтон настаивал. Учёным оставалось лишь согласиться.

Уладив вопрос о естественнонаучных коллекциях благодаря драматической конфронтации Жоффруа Сент-Илера, Кларк перешёл к рассмотрению самой щекотливой и самой двусмысленной категории: мелких древностей, которые, по

утверждению французских учёных, были приобретены ими на собственные деньги у феллахов или торговцев древностями, а не обнаружены официально Комиссией.

Эти мелкие древности включали сотни разнообразных предметов. Погребальные статуэтки из расписного дерева и глазурованного фаянса, амулеты из полудрагоценного камня, резные скарабен, фрагменты папирусов, небольшие бронзовые статуи, керамика, украшения, древние орудия, обрывки тканей. Французские учёные доказывали, что эти предметы были личными коммерческими приобретениями, сделанными на местном рынке, а не официальными археологическими находками.

Кларк отнёсся к такому разделу скептически.

— Доказать, что каждый предмет был куплен, а не найден, будет невозможно, — сказал он. — Вы наверняка не сохранили квитанции за все ваши покупки на базаре.

Фурье признал, что это затруднительно.

— Мы не всегда вели строгие записи. Но делить эти коллекции предмет за предметом заняло бы недели. Я предлагаю компромисс. Мы отбираем половину мелких древностей, которые хотим оставить за собой в первую очередь, а вы берёте другую половину для Британского музея.

Гамильтон, оценив это честное предложение, позволявшее избежать нескончаемых споров по каждому отдельному предмету, принял компромисс.

— Ваше предложение представляется мне разумным. Так и поступим. Это будет быстрее.

Следующие дни французские учёные провели, отбирая предметы, которые они сохраняют, отдавая предпочтение тем, что обладали наибольшей научной документальной ценностью или наибольшим историческим значением. Они

сохранили, в частности, несколько папирусов с иероглифическими и демотическими текстами, полные серии погребальных статуэток из одной гробницы, коллекции скарабеев с картушами различных фараонов.

Гамильтон со своей стороны отобрал самые эффектные на вид предметы, которые произведут впечатление на публику Британского музея. Бронзовые статуи египетских божеств, украшения из золота и серебра, амулеты тонкой работы из лазурита и сердолика, расписную керамику высокого качества.

Этот раздел, хотя и лишил Францию многих ценных предметов, всё же позволил спасти существенную часть мелких древностей, которые обогатят будущие коллекции Египетского музея Лувра, открытого в 1827 году.

Особая проблема возникла в связи с мумиями, которые собрали учёные. Гамильтон утверждал, что мумии, очевидно, являются египетскими древностями, подлежащими изъятию. Французские учёные решили доказывать, что мумии обладают прежде всего научной анатомической ценностью, а не эстетической музейной, и что они лучше послужат науке, если останутся у французских естествоиспытателей, которые смогут их изучать.

Гамильтон, поразмыслив, принял компромисс. Французские учёные сохраняют нескольких мумифицированных животных и одну человеческую мумию посредственного качества для своих анатомических исследований, тогда как британцы возьмут лучше всего сохранившиеся царские или знатные мумии для публичной экспозиции.

— Меня это устраивает, — сказал Гамильтон, закрывая записную книжку. — Мы нашли приемлемое решение для каждой из категорий предметов.

Фурье ответил учтивой сухостью, не скрывавшей его горечи.

— Мы были конструктивны, потому что у нас не было выбора, господин Гамильтон. Сила была на вашей стороне. Позвольте мне тем не менее официально занести в архивы Комиссии, что мы считаем это изъятие несправедливым ограблением французского научного труда, выполненного ценой трёх лет работы и страданий.

Гамильтон склонил голову, ничего не возразив. Он слышал этот протест уже не раз и знал, что он будет передан в Париж, занесён в мемуары, а может быть, когда-нибудь и опубликован. Он не стремился стереть обиду французов, а лишь исполнить свои инструкции с минимумом ненужного ущерба.

Следующие дни были посвящены практической описи мелких древностей. Каждый предмет заносился в два списка одновременно: один вёл британский секретарь, другой — Марсель. Сверка двух описей в конце дня позволяла убедиться, что ни один предмет не был пропущен или перемещён без обоюдного согласия. Этот скрупулёзный порядок, хоть и утомительный, обеспечивал достаточную прозрачность, чтобы избежать последующих споров.

Вопрос об эстампах иероглифических надписей оказался несколько более спорным. Гамильтон утверждал, что эти эстампы являются репродукциями египетских надписей и потому могут считаться подпадающими под категорию «прочих коллекций», упомянутую в статье шестнадцатой.

Марсель, тщательно подготовивший свою защитительную аргументацию, энергично оспорил это расширительное толкование.

— Эти эстампы — бумага и тушь, — сказал он. — Не древности для выставки. Рабочие документы для филологов. Британский музей не знает, что с ними делать. Оставьте их нам.

Гамильтон какое-то время размышлял, прежде чем ответить.

— Ваши заметки — это ваши заметки. Не это я здесь ищу.

Он резким движением закрыл записную книжку.

— Оставьте их себе. У нас есть оригинал.

Гамильтон признал логику довода. Эстампажи останутся у французов. Марсель знал это ещё со времён Розетты. Он работал ради этого.

За три недели Комиссия спасла главное. То, что учёные увезут во Францию, не умещалось в больших ящиках. Оно умещалось в медных тубусах и кожаных папках. В трюмах корабля оно будет весить мало. В грядущие десятилетия оно будет весить куда больше.

Вопрос о рукописях и научных заметках был решён ещё более благоприятно для французов. Гамильтон без труда признал, что эти документы являются личными интеллектуальными трудами, совершенно отличными от материальных египетских древностей, и потому не подлежат изъятию как военная добыча.

15 сентября Гамильтон попросил осмотреть все рисунки, выполненные Жоуа и его коллегами-художниками за время экспедиции. Жоуа предъявил свои блокноты.

— Господин Гамильтон, этих рисунков не существовало, пока я их не нарисовал. Статуя фараона существовала и без меня. Мои рисунки существуют лишь потому, что я их создал. Конфисковать личное произведение искусства — это не реквизиция, это кража.

Гамильтон долго рассматривал рисунки.

— Ваши рисунки — ваше творчество, а не древности. Сохраните их. Я попрошу лишь около пятидесяти копий для Британского музея. Оригиналы остаются у вас.

Жоуа сам выбрал копии, которые надлежало передать. Он положил руки на свои блокноты, опустив глаза. Вот и всё.

Вопрос о древних монетах едва не возобновил конфликт, который считали разрешённым. Учёные Комиссии совместно владели несколькими сотнями греческих, птолемеевских и римских монет, собранных на памятниках Дельты и долины Нила. Гамильтон потребовал их как подлежащие изъятию древности. Учёные возразили, что это личные приобретения, сделанные для их собственных нумизматических собраний.

— Каждая монета куплена кем-то из учёных, — сказал Марсель, доставая записную книжку, в которую с восхитительной прозорливостью занёс каждое отдельное приобретение с ценой, датой и именем продавца. — Эти записи доказывают частный характер приобретений.

Гамильтон внимательно изучил книжку. Ведение этого реестра явно началось до переговоров. Это не мог быть документ, сфабрикованный ради дела. Он принял довод и оставил монеты учёным, за исключением пятнадцати или около того примечательных экземпляров, которые Марсель согласился уступить ему в обмен на дополнительные возможности для перевозки самых громоздких ящиков.

Такие мелкие разовые компромиссы были характерны для метода Гамильтона: твёрд в основных положениях своих инструкций, гибок во второстепенных деталях.

Жолуа, узнав об этом решении, был благодарен, не показывая этого. Этот случай напоминал ему, что Гамильтон, несмотря на строгость своей миссии, сохранял чувство справедливости, отличавшее его от грубых конфискаторов, которых он опасался в начале переговоров.

— Я предпочитаю рискнуть и пропустить несколько предметов, чем создать прецедент произвола. Доверие к нам в этих переговорах держится на беспристрастности. Если французы заподозрят нас в конфискации имущества вне всяких правил, мы потеряем их сотрудничество в дальнейшем.

III – Этика грабежей

Утром 17 сентября Жолуа один вышел побродить по Александрии. Ему не нужно было ничего особенного рисовать. Ему хотелось пройтись. Переговоры длились четырнадцать дней. Протокол будет подписан через несколько дней. После этого защищать будет нечего.

Он прошёл квартал торговцев, не останавливаясь. Город продолжал жить. Это поражало его больше всего. Что город продолжал жить, словно ничего не случилось. Женщины у колодцев. Мулы в узких переулках. Запах горячего хлеба и жасмина.

Он остановился перед лавкой переплётчика. Тот работал на пороге своей двери, сшивая тетради с неторопливой тщательностью человека, чья рука знает это движение с детства. Он поднял глаза на Жолуа, затем опустил их обратно на работу без особого любопытства. Ещё один француз. За три года он видел их немало. Увидит и других. Османов, англичан, мамелюков. У города были свои ритмы, не зависевшие от армий, которые через него проходили.

Жолуа смотрел, как он работает. Истёртые инструменты, механические движения, верстак, отполированный годами трения. Запах клея, разогревавшегося в горшке, плыл по улице. Мягкий, чуть едкий. Этот человек занимался своим делом давно. Армии меняются, блокноты остаются.

Жолуа не заговорил с ним. Без переводчика он так и стоял, глядя на его работу, а потом пошёл дальше, к порту. Британские корабли были там, на рейде, в ожидании. На набережных громоздились ящики. Большие древности отплывут через неделю. Сам он отплывёт вскоре после этого на одном из этих кораблей. В сумках — блокноты. В английских ящиках — Розеттский камень и саркофаг Нектанеба II.

Он подумал о переплётчике. Переплётчик делал блокноты. А он их заполнял. Блокноты уедут в Париж, ящики — в Лондон. Через сто лет — через двести лет — кто-нибудь откроет эти блокноты и увидит Египет таким, каким он был в 1801 году. Колонны храмов и царские гипогей, но не переплётчика и не улицу. Именно это Жолуа и решил рисовать. То, что он оставил в стороне — повседневный город, обычных людей, работу рук — нигде не останется.

Он нарисовал порт, набережные, корабли на рейде. Потом, в уголке страницы, по памяти, руки переплётчика над тетрадью. Он не знал, почему. Просто эти руки никуда не уедут. Они останутся здесь, на этой улице, делать блокноты. Они заслуживали хотя бы одной линии.

Он рассмотрел рисунок. Руки, быстрые, уверенные, с мозолями в нужных местах. Руки, которые никогда не покидали эту улицу. Которым не нужно было её покидать. Эти руки знали, что делают. Движение, усвоенное так рано, что стало самым телом. Он подумал о своих собственных руках, испачканных чернилами. Об Абдалле ибн Юсуфе, знавшем канал иначе, чем по измерениям. О коптском мастере, чьи руки знали папирус. Эти руки не уедут ни в каком ящике. Они останутся здесь, делать то, что делали всегда.

В тот вечер Гамильтон прислал им записку. Он просил позволения прийти к ним на ужин на следующий день, без секретаря. Жолуа показал записку Фурье.

— Он придёт один, — сказал Фурье. — Без секретаря.

— Это значит, что он придёт как человек, а не как комиссар.

Фурье отложил записку. Он знал такого рода жест. Прийти к противнику без секретаря, без протокола. Так поступают люди, которые хотят сказать то, чего не могут написать в рапорте. Он примет приглашение от имени всех.

Вечером 18 сентября Гамильтон явился к французам, как было условлено. Он был один.

Стол был дверью, положенной на козлы. Хлеб, козий сыр, бутылка местного вина, которое никто не стал оценивать. Фурье был там, Жоффруа, Марсель. Снаружи солдаты грузили ящики на повозки. Слышно было, как дерево трётся о дерево.

Какое-то время они ели молча. Это Гамильтон попросил прийти. Они ждали, чтобы узнать, зачем.

— Саркофаг Нектанеба II, — сказал он наконец. — Тот, что вы изучали здесь, в Александрии. Завтра он отправляется в порт. Я хотел сказать вам об этом в лицо.

Жолуа медленно поставил стакан. Саркофаг Нектанеба был из зелёной брекчии, длиной более трёх метров, покрыт надписями из Амдуата. Он потратил целый день на его зарисовку. Он помнил свет на брекчии. Не блик, а поглощение, словно камень удерживал свет для себя. Иероглифы были вырезаны с точностью, которая и спустя двадцать веков позволяла различить перья птиц и сочленения змей. Он отдал этой работе целый день.

— Этот саркофаг, — сказал Фурье, — был в Александрии до нас. Арабы использовали его как бассейн фонтана. Мы достали его оттуда. Мы его изучили.

— Знаю. Мы тоже нашли его в роли фонтана, в наших архивах о путешествии Покока. Это одна из причин, по которым я хотел вам это сказать. Вы не первые, кто его перемещал.

Снаружи один ящик стукнулся о другой. Кто-то выругался по-английски.

— Знаете, что меня задевает, — сказал Жолуа. — Не то, что вы его забираете. А то, что через сто лет египтянину придётся ехать в Лондон, чтобы увидеть саркофаг одного из своих фараонов.

Гамильтон смотрел в свой стакан. Фурье наблюдал за Гамильтоном, который смотрел в свой стакан.

— Если через сто лет найдётся египтянин, который захочет увидеть этот саркофаг, — сказал Гамильтон, — значит, кто-то объяснил ему, что это такое. И этот человек, вероятно, работал по вашим рисункам и вашим обмерам. Не по камню.

— Это не ответ. Это оправдание.

— Да. Как и все ответы, которые мы даём себе насчёт того, что делаем здесь.

Какое-то время никто не ел. Марсель наполнял свой стакан с той точностью, которую вкладывал во всё, что делал.

— Этот саркофаг, — сказал Марсель, не поднимая головы, — сменил владельца ещё до арабов. Он так и не принял тела Нектанеба и оказался в Александрии. Из него сделали ванну. Арабы превратили его в фонтан. Мы его измерили и зарисовали. Вы собираетесь выставить его. У каждой эпохи свой способ присваивать Египет.

— А у самого Египта права голоса нет.

Жоффруа смотрел в потолок.

— Не Египет нас приглашал.

Разговор только что коснулся того, чего Гамильтон не предвидел. Он подумал о своих инструкциях: изымать древности, соблюдать справедливость. В его инструкциях о египтянах не говорилось. Никто не подумал включить их туда. Он не ответил Жоффруа. Это не было дерзостью. Это была честность.

— Если Египет когда-нибудь сложится в нацию, — продолжил Фурье, — и потребует вернуть своё достоинство, что ответит Британский музей?

— Отвечать буду не я. Ответит кто-то другой, при других обстоятельствах. Я не могу связывать следующий век.

Фурье отметил этот ответ. Он был честным — и недостаточным. Но это было всё, что мог сказать в тот вечер человек в положении Гамильтона.

Через несколько лет, в своих заметках к предисловию к «Описанию», он вновь наткнётся на эту фразу. Он не вставит её туда. Она была слишком личной, слишком связанной с вечером, у которого не было официального свидетеля. Но он будет думать о Гамильтоне, когда будет писать предисловие к «Описанию».

Гамильтон поднялся первым. Он поблагодарил за ужин. У двери он остановился.

— Если кто-нибудь из французских учёных захочет осмотреть саркофаг в Лондоне, я помогу получить доступ.

Жоуа смотрел ему вслед. Снаружи солдаты продолжали грузить. Александрийская ночь входила в окно. Голоса по-арабски, собака, запах порта.

— Он согласился с нами во всём, что мы ему сказали, — сказал Марсель. — И всё равно взял саркофаг.

На следующее утро, когда Жоуа пересекал двор, саркофага Нектанеба там уже не было. Вместо него — прямоугольный след на песке.

22 сентября, рано утром, египетский торговец явился к воротам склада и попросил разговора с Гамильтоном.

Его звали Махмуд аль-Тавиль. Он держал лавку древностей в коптском квартале Александрии, через две улицы от порта. Его пятнадцатилетний сын сопровождал его и должен был служить переводчиком. Жоуа, проходивший по двору как раз в тот момент, когда они пришли, остановился.

Гамильтон принял их в комнате, служившей ему кабинетом. Стол, четыре стула, стопки протоколов, которые секретарь раскладывал последние две недели. Махмуд аль-Тавиль

положил на стол сложенный листок бумаги и стал ждать, пока сын переведёт.

Он утверждал, что несколько статуэток, числящихся в партии британских мелких древностей, были украдены у него французскими солдатами в 1798 году. Он требовал их возвращения.

— Он говорит, что его отец приобрёл эти вещи у своего собственного отца, — перевёл сын. — Они были в семье три поколения. Солдаты забрали их из лавки в первую неделю оккупации. У него есть свидетели.

Гамильтон выслушал. Он взглянул на сложенный листок. Список из восьми предметов, описанных по-арабски, с пометками в пиастрах — ценами, уплаченными при приобретениях отцом. Он попросил показать свидетелей. Сын вышел и вернулся с двумя мужчинами из того же квартала, которые подтвердили, что Махмуд аль-Тавиль действительно владел этими предметами до прихода французов.

Жоуа подошёл к двери. Он узнал описание одной из статуэток: бронзовая фигурка стоящего Осириса со скрещёнными на груди руками, высотой около двадцати сантиметров. Он её рисовал. Не в доме этого человека, а в открытом ящике на биваке, в 1798 году, в первые дни. Он не спросил, откуда она.

— Я не могу вернуть вам эти предметы, — сказал Гамильтон. — Они входят в официальное изъятие, подтверждённое капитуляцией. Процедура индивидуальной реституции в таком контексте юридически безнадёжно запутана.

Сын перевёл. Махмуд аль-Тавиль выслушал, не изменившись в лице. Он задал короткий вопрос.

— Он спрашивает, кому принадлежат эти предметы теперь? Англичанам или французам?

— Англичанам. Они в ящиках британского изъятия.

Новый короткий вопрос.

— Тогда он спрашивает, почему англичане не могут их вернуть, если они у них?

Гамильтон не спеша подбирал ответ. Это не было недобросовестностью. Это была правда системы, не рассчитанной на такие вопросы.

— Потому что эти предметы отныне составляют часть государственного изъятия, регулируемого международным договором. Индивидуальные права, даже законные, не могут рассматриваться в этих рамках. Это означало бы открыть процедуру, которой нет конца.

Сын перевёл. Махмуд аль-Тавиль выслушал, один раз кивнул и сказал что-то.

— Он говорит, что понимает. И говорит: всё равно запишите моё имя.

Гамильтон записал. Он вписал имя, адрес, описание восьми предметов, имена двух свидетелей. Он подписал страницу и вручил копию Махмуду аль-Тавилю.

Торговец взял бумагу, аккуратно сложил её и спрятал в складках одежды. Он поблагодарил без теплоты и вышел с сыном. Во дворе он на миг остановился и посмотрел на ящики, сложенные у стены. Он ничего не сказал. Он шагал обратно в город.

Жолуа остался в дверном проёме. Он думал о бронзовой фигурке Осириса. О странице своего блокнота, где он её нарисовал. Фигурка уедет в Лондон. Рисунок уедет в Париж. Имя Махмуда аль-Тавиля останется в британском реестре, который, вероятно, никто никогда не найдёт. Всё это было записано. Ничто из этого не будет возвращено.

Были конкретные жертвы, лишённые имущества владельцы, законные притязания, которые ни Франция, ни Англия не были в состоянии рассмотреть по справедливости.

Вечером 22 сентября итоговый протокол был подписан во дворе склада.

Во дворе накрыли стол, на том же месте, что и в предыдущие недели, под тем же холщовым навесом, который сентябрьское солнце выбелило снизу. Секретарь Гамильтона разложил рядом два экземпляра документа — один на французском, другой на английском, каждый с пронумерованными приложениями. По двадцать две страницы в каждом. Секретарь выровнял перья, чернильницы, положил печать для сургуча. Он делал это с педантичной тщательностью людей, которые знают, что их работа будет отправлена в архив.

Гамильтон прибыл первым, с двумя офицерами в качестве свидетелей. Фурье представлял французов вместе с Жоуа. Жомар тоже был здесь, поодаль, без официальной роли, но ему захотелось увидеть всё своими глазами.

Первым подписал Гамильтон. Этого требовал протокол: сторона, навязавшая свои условия, подписывает раньше. Он сделал это без колебаний, жестом человека, которому уже случалось подписывать многое во многих странах.

Фурье взял перо. Он подержал его мгновение, не касаясь бумаги. Это не было колебанием в собственном смысле слова: решение было принято давно, иной возможности не существовало. Это было нечто другое. То время, которое требуется руке, чтобы согласиться с тем, с чем разум уже согласился. Он подписал. Чернила быстро высохли в вечернем зное.

Затем подписал Жоуа. Секретарь скрепил оба экземпляра сургучными печатями обеих сторон: красной у британцев, синей у французов. Каждая печать оставляла чёткий отпечаток в мягком сургуче. Звук печати, опускающейся на сургуч, был глухим, окончательным.

Жомар машинально сосчитал приложения. Двадцать две страницы, итого сорок четыре. В этих листах — перечень крупных древностей, захваченных британцами, перечень научных коллекций, признанных за французами, статьи о взаимном доступе, гарантии перевозки. Цифры, описания, категории. Ничто на этих страницах не говорило ни о том, сколько весит саркофаг Нектанеба, ни о том, сколько длился тот день, когда Жолуа его зарисовывал.

Оба экземпляра были вручены сторонам. Гамильтон убрал свой в сумку, больше на него не взглянув. Фурье некоторое время держал свой в руках, словно прикидывая его вес. Раздел был запротоколирован. То, что было в Лондоне, было в Лондоне. То, что было в Париже, было в Париже. То, что по-прежнему оставалось там, в этих переулках, на рынках и на раскопках, не принадлежало никому по эту сторону стола.

Несколько секунд никто ничего не говорил. Потом один из британских офицеров кашлянул, и все разом зашевелились. Гамильтон сделал последнее замечание, формулировка которого показалась Жолуа точной.

— То, что мы здесь сделали, будущие поколения оценят иначе. Не знаю, будет ли их суд к нам благосклонен. Но мы, по крайней мере, попытались сделать это с известной долей справедливости.

Жолуа не ответил. Он был слишком утомлён для философии. Но в тот же вечер он записал эту фразу в свою записную книжку, с датой и обстоятельствами. Ни в одном изданном труде её не будет.

IV – Прощания

Когда все переговоры о разделе коллекций были завершены, французские учёные и британские комиссары провели

последние дни сентября, упаковывая предметы, которые предстояло отправить по местам назначения.

Что касается британцев, то крупные древности были внесены в реестр ещё с 4 сентября. Людям Кларка оставалось только заколотить ящики и проверить ремни и пломбы. Во дворе склада ящики, Розеттский камень, саркофаги, статуи на тележках ждали погрузки, и никто больше не вскрывал их. Что было решено на переговорах, то было решено. Открывать заново было нечего.

Жолуа молча наблюдал за этими приготовлениями со смешанным чувством горечи и покорности. Он знал, что эти предметы уйдут в Лондон навсегда и что он никогда в жизни больше их не увидит. Но по крайней мере он спас свои рисунки, которые позволят сохранить наглядную память об этих памятниках, пусть даже сами вещи будут потеряны для Франции.

24 сентября Гамильтон пришёл поблагодарить Жолуа и Фурье за их относительное сотрудничество в ходе переговоров.

Французские учёные, со своей стороны, упаковали коллекции, которые им удалось спасти.

Каждый учёный составил подробную опись всего, что увозил с собой, педантично перечислив каждый предмет, каждую рукопись, каждый рисунок.

25 сентября под совместным наблюдением британского офицера и Фурье состоялся предварительный осмотр. Каждый ящик вскрывали, содержимое сверяли с описью, затем закрывали снова.

К вечеру 26 сентября все приготовления к упаковке были завершены. Французские учёные были готовы отплыть во Францию, как только будут свободны британские корабли.

В последние часы этого дня, 26 сентября, Жолуа собрал помощников для окончательной проверки. Он велел

распаковать и заново осмотреть каждый металлический тубус с рисунками, убедился, что пробки герметичны, а на тубусах нет ни одной трещины. То же он проделал со связками бумаг, картонными папками с заметками, портфелями с эстампажами. Всё, что Комиссия привезёт во Францию, умещалось в нескольких ящиках и нескольких медных рулонах. Это было немного — для более чем трёх лет работы. Это было всё.

— Мы ничего не забыли?

— Ничего существенного. Измерительные приборы в ящике номер три. Тетради архитектурных обмеров в ящике номер четыре. Ваши рисунки в тубусах с первого по двадцать третий. Эстампажи Марселя в портфелях. Журналы Института в ящике номер пять.

Жолуа посмотрел на металлические тубусы. Внутри, свёрнутые и переложенные хлопковой бумагой, лежали листы, изображавшие весь древний Египет, который прошла армия, сведённый к линиям и штриховке на плотной бумаге. Эта бумага теперь была ценнее самих памятников, ибо её можно было бесконечно тиражировать гравюрой, передавать сквозь время и пространство.

В ночь с 26 на 27 сентября Жолуа просидел в своей комнате, поставив металлические тубусы у стены слева от себя, и работал над указателем к своим рисункам — алфавитным и тематическим перечнем всех документированных памятников, распределённых по местам, эпохам, архитектурным типам.

Этот указатель, который он закончил около четырёх часов утра, должен был стать первым оглавлением того, что превратится в *«Описание Египта»*. В нём значились две тысячи восемьдесят семь рисунков, охватывающих сто восемьдесят шесть различных мест, от острова Филе на юге до Александрии на севере. Для каждого рисунка он отмечал,

был ли это общий вид, архитектурная деталь, надпись или фигурное изображение.

На рассвете он закрыл указатель и положил его в тубус номер один вместе с самыми драгоценными своими тетрадами. Он был готов. Египет лежал в тубусах. Можно было уезжать. Он задул лампу.

Ящики были окончательно опечатаны 27 сентября в десять часов утра. Британский офицер, двое французских свидетелей, импровизированный по случаю военный нотариус. Церемония была простой, но её последствия — огромными. Эти сорок два ящика должны были пересечь Средиземное море и пополнить национальные коллекции Франции. После всего, что произошло, это была победа частичная, но подлинная.

Жомар мысленно запечатлел эту сцену, решив, что опишет её в своих мемуарах. Его впечатлило не само зрелище, а то, что оно означало. Конец периода его жизни, не похожего ни на какой другой. В двадцать три года он уже пережил то, чего большинство людей не переживает никогда.

Жоуа же не думал о будущем. Он думал о пирамидах, о колоссах Мемнона, о храмах Филе. Обо всём, что он не успел зарисовать.

29 сентября французские учёные узнали, что британские корабли, которые должны были доставить их во Францию, будут готовы принять пассажиров через два дня. Эта новость ускорила последние приготовления.

Утром 30 сентября французские учёные получили официальный приказ быть готовыми к посадке на следующий день на британские транспортные суда, которые доставят их во Францию через Мальту.

Перед посадкой Гамильтон нанёс французским учёным последний визит. Он принёс официальные пропуска, которые позволят провезти их ящики через британские

портовые досмотры. Этот документ, подписанный и скреплённый печатью, был формальной гарантией того, что никто не попытается конфисковать их имущество в последнюю минуту.

— Вот ваши охранные грамоты. Желаю вам доброго пути домой.

Он вручил Жолуа пачку бумаг. Жолуа взял её и ответил:

— А я желаю вам хорошо распорядиться тем, что вы увозите. Гамильтон коротко улыбнулся. Он понял. В этих обстоятельствах хорошо распорядиться Розеттским камнем, саркофагами, царскими мумиями означало серьёзно их изучать, сделать доступными для учёных, извлечь из них знание, которое пойдёт на пользу всем. Это было бы единственным морально приемлемым оправданием того, что он здесь сделал.

— Мы сделаем всё, что в наших силах.

На этом всё закончилось. Больше они никогда не виделись. В последний вечер учёные собрались вместе, без Гамильтона и британских офицеров. Они ели мало и говорили долго. У каждого были свои сожаления: непосещённые места, нескопированные надписи, памятники, которые удалось бы изучить, будь у них ещё один год. Но каждый знал и то, что они совершили нечто, чего никогда прежде не делали и что не повторится в том же виде.

В ночь с тридцатого сентября на первое октября, лёжа на соломенном тюфяке на складе, Жолуа слушал шум моря и крики чаек. Он мысленно перебирал минувшие три года. Высадка в Александрии, переход через пустыню, первый вид пирамид, храмы Верхнего Египта, восстание в Каире, Розеттский камень, смерть Клебера, изнурительные переговоры с Гамильтоном. Всё это казалось ему

принадлежащим другой жизни, прожитой человеком более молодым и наивным, чем тот, кем он стал.

Он встал на рассвете, пошёл в последний раз проверить, хорошо ли закреплены тубусы, и вышел на набережную. Море было спокойным под ещё тёмным небом. Несколько звёзд оставалось на западе. На кораблях на рейде горели фонари. Через несколько часов он будет на борту. Через несколько недель — в Париже.

Утром 1 октября прощания принимали разные формы в зависимости от темперамента. Жолуа, у которого завязалось несколько прочных связей с египетскими учёными в Каире, нанёс последний визит одному александрийскому шейху, получившему образование в аль-Азхаре, с которым он вёл беседы о памятниках фараонов. Шейх, старый книжник, читавший по-арабски, по-персидски и по-турецки, но не по-французски, проявлял неподдельное любопытство к рисункам, которые показывал ему Жолуа.

— Он говорит, что фараоны были великанами, — переводит толмач. — Великанами, которые строили для вечности, потому что верили, что будут жить в ней.

— Возможно, он не так уж неправ. Эти памятники пережили все империи, владевшие этой землёй. Они переживут и наши.

Шейх сказал ещё что-то. Толмач помедлил, прежде чем перевести.

— Он говорит: вы смотрели на эти камни так, словно у них есть душа. Это хорошо. Эта разница важна, даже если вы уехали.

Жолуа записал эту фразу. Она перекликалась с замечанием вакиля Абдаллы. Он начинал понимать, что тот внимательный взгляд, который они бросили на древний Египет, имел, независимо от любых политических и

военных соображений, собственную ценность, которую признавали и сами египтяне.

Посадка состоялась ближе к полудню 1 октября. Британские корабли встали на якорь в нескольких сотнях метров от набережной. Шлюпки курсировали между набережной и судами. Ящики французов грузили первыми, по договорённости с Гамильтоном, который понял тревогу учёных за свои коллекции.

Корабли назывались «Петерел», «Альцеста» и «Юните». Последний был французским фрегатом, перешедшим под британский флаг, название которого англичане сохранили.

— Осторожно, — сказал Жоффруа матросу, который поднимал один из его ящиков с банками, взявшись за один край. — Он хрупкий.

Матрос повертел ящик во все стороны, прикидывая равновесие, затем поставил его в шлюпку к остальным. Жоффруа стиснул зубы.

Его беспокоило место в трюме. Трюмы фрегатов были тёмными, сырыми, плохо проветриваемыми, подверженными толчкам качки и волнения. Банки со спиртом были самой серьёзной проблемой. Если ящик опрокинется в трюме во время бури, если дерево не выдержит удара, банки разобьются, спирт разольётся, а если рядом окажется фонарь, возникнет опасность пожара в трюме. Он указал на этот риск британскому капитану, который понял его и разрешил поместить самые хрупкие ящики в доступном месте на нижней палубе.

Жолуа последним сел в шлюпку. Он в последний раз взглянул на Александрию с уровня воды. Белые дома с плоскими террасами, стройные минареты, цитадель, воздвигнутая на развалинах древнего Фароса, а за всем этим начинающаяся пустыня, долина Нила, исчезающая в южной

дали, бесчисленные памятники, не все из которых успела достичь армия.

— Столько всего ещё осталось увидеть, — прошептал он.

— Так будет всегда, — добавил Жомар, севший в ту же шлюпку. — Такова природа Египта. Он неисчерпаем.

Шлюпка отошла от набережной. Жолау не обернулся. Он хранил перед глазами образ Александрии такой, какой она была в то утро, чёткой и светлой в сухом октябрьском воздухе.

Устроившись на борту, он отказался оставлять свои медные тубусы в трюме. Он отнёс их в свою койку — место, отведённое ему в помещении младших офицеров, каморку в два метра на полтора с парусиновой койкой и крюком в потолке. Он повесил сумки на крюк. Двадцать три тубуса, около пятидесяти килограммов. Койка слегка прогибалась под дополнительным весом.

Первую ночь он почти не спал. Каждое движение корабля заставляло сумки раскачиваться. Он смотрел на них в темноте, считая размахи.

Жомар разместил свои ящики с картографическими съёмками по договорённости с первым лейтенантом, закрепив их верёвками у переборок, как артиллерийское снаряжение. Военный способ защитить от качки.

— Вам уже случалось перевозить ценные карты? — спросил его лейтенант.

— Нет. Но я видел, как вы крепите орудия.

Лейтенант кивнул. В этом была логика.

На борту французские пассажиры, учёные и солдаты, оказались перемешаны с британскими экипажами в помещении, рассчитанном на две трети такого числа людей. Стороны оставались разделёнными: французы на носу и по левому борту, британцы в центре и по правому. Но в тесных

коридорах, на переходах, на трапах они встречались по двадцать раз на дню, не обменявшись ни словом.

То, что чувствовали учёные, было скорее не стыдом, а ощущением абсурда. Они возвращались во Францию на кораблях тех, кто только что отнял у них Розеттский камень и саркофаг Нектанеба II. Тот же флот, что потопил их собственный у Абукира. У истории была своя манера замыкать круг.

Так Жолуа и написал в своём вечернем письме. Письме, которое он не закончил и никогда не отправил:

«Мы возвращаемся во Францию на судах наших победителей, с их пропусками в наших карманах и с Розеттским камнем в их трюмах. Мы взяли Египет у египтян, они вновь отобрали его у нас. Камни теперь плывут в Лондон. Наши рисунки плывут в Париж в медных тубусах, которые я держу у себя на койке. Думаю, это различие будет иметь значение в долгосрочной перспективе».

Жолуа смял письмо и выбросил его: у него не нашлось слов для того, что он чувствовал. Он попытается найти другие в «Описании».

V – Переход

У Средиземного моря в октябре бывали свои причуды. Уже на второй день поднялся северо-восточный ветер, и море разыгралось. Корабль начало сильно качать. Несколько учёных, непривычных к плаванью, провели первые дни, лёжа в своих каютах, — кроме Жомара, который спустился в трюм проверять свои ящики, и Жоффруа Сент-Илера, который поднимался их осматривать каждые два часа.

Жолуа оставался на палубе. Плавание сюда он перенёс без труда и за египетские месяцы выработал спокойное отношение к морю. Он наблюдал за волнами, облаками, переменчивым светом тем же взглядом, каким смотрел на

памятники. Внимательным, открытым, без суждения. К нему подошёл поговорить один британский офицер, из числа молодых британских офицеров.

— Что именно вы везёте в этих тубусах?

— Древний Египет.

Офицер посмотрел на него, не понимая.

— Рисунки, — пояснил Жолуа. — Обмеры памятников. Копии надписей. Всё, что я сумел задокументировать за более чем три года. Хватит на целые тома.

— Как энциклопедия?

— С картинками, — сказал Жолуа.

Офицер, по-видимому, удовлетворился и ушёл. Жолуа остался на палубе ещё на час, глядя на море. Где-то за горизонтом пирамиды всё так же стояли на своём месте. Невозмутимые. Они ничего не ждали.

На пятый день ветер стих. Море вернулось к ровному движению. Учёные снова появились на палубе, ещё бледные, но уже на ногах. Каждый вернулся на своё место, к своим тетрадам, своим расчётам. Работа возобновилась ещё до того, как показалась Мальта.

Жомар работал над своими записями измерений, выискивая несоответствия. Несколько из них удавалось разрешить. Два не поддавались.

— Взгляните на эти замеры, — сказал он, положив свои тетради на фальшборт. — Основание пирамиды Хефрена несколько длиннее по оси восток–запад, чем по оси север–юг. Ненамного. Двадцать сантиметров на двести пятнадцать метров. Но это повторяется на всех трёх больших пирамидах Гизы.

— Ошибка ваших измерений?

— Возможно. Но маловероятно. Я измерял каждую сторону трижды.

— Так что же?

— Тогда выходит, что их измерения учитывают кривизну земли. Практика может опережать теорию на несколько веков.

Жоуа долго смотрел на него.

— Опубликуйте это.

— Не сейчас. Это лишь гипотеза. Я хочу проверить её вместе с Монжем в Париже.

Монж уехал с Бонапартом. Но измерения путешествовали с Жомаром, в тубусе номер четыре. Этот результат, опубликованный в томах *«Описания»*, сделает его одним из основателей современной геодезии. В тот вечер на палубе Жомар был лишь двадцатитрёхлетним человеком, которому не спалось.

О чём Жомар не говорил — о чём он не сказал никому с самого отъезда из Александрии — так это о том, что гипотеза пугала его настолько же, насколько воодушевляла. Если строители пирамид знали кривизну земли, это означало, что нечто было утрачено. Не забыто — знания забываются, — а утрачено в полном смысле слова: уничтожено, рассеяно, сделано недоступным. Двадцать веков завоеваний, грабежей, пожаров. Александрийская библиотека. Папирусы, которые солдаты Цезаря сожгли, не читая. Долгое равнодушие сменявших друг друга захватчиков к тому, что хранили стены.

Он достал из-под плаща тетрадь номер семнадцать, ту, что он отвёл для непроверенных гипотез. Он записывал в неё месяц за месяцем наблюдения, не поддающиеся непосредственному объяснению. Астрономическая ориентация храмов. Отсутствие малейшей погрешности в пропорциях великого храма Амона в Карнаке на протяжении пятисот метров. Расположение внутренних камер и галерей великих пирамид, оси которых, как ему

казалось, отвечали расчёту, который он ещё не вполне восстановил.

Пирамиды были не только гробницами. Быть может, вовсе не гробницами, в том смысле, в каком это слово понимали во Франции. Они были инструментами. Машинами для измерения мира, для закрепления неба в камне, для передачи тем, кто придёт после, знания, которое папирус не мог гарантировать. Потому что папирус горит. Камень — меньше.

Он закрыл тетрадь. Для сноски гипотеза была слишком обширной. Она требовала десяти лет работы. Ему было двадцать три года. Время у него было.

Настала ночь. Звёзды над Средиземным морем были менее яркими, чем над пустыней. Он поискал Орион и нашёл его низко над горизонтом; три звезды пояса слегка наклонялись к югу. Он смотрел на них, пока холод не заставил его уйти. В тубусе номер четыре, между двумя рулонами промасленной бумаги, он ещё раньше вложил небольшой листок, сложенный вчетверо, на котором скопировал в Гизе точные размеры оснований. Эти цифры не солгут. Это был его якорь.

На кормовой палубе Фурье писал. Он уже несколько дней искал начало исторического введения к *«Описанию»*. Фразу, которая дала бы читателю понять, почему Египет важнее любой другой древней цивилизации. Дело было не в материале. Дело было в тоне. Если он примет тон учёного, то потеряет образованного читателя, который хотел быть растроганным. Если примет тон оратора, то предаст строгость, которой от него ждал Институт.

Он исписал и порвал одиннадцать первых страниц. Во всех этих одиннадцати попытках была одна и та же ошибка: он начинал с экспедиции. «19 мая 1798 года французская армия вышла из Тулона». Или: «Комиссия по наукам и искусствам, состоящая из ста шестидесяти семи членов». Верные

формулы, говорившие читателю, что ему предстоит читать отчёт. Это не было отчётом.

То, чего он искал и не находил, — это слово, которое дало бы читателю понять, чем Египет отличается от всех других стран. Не красивее, не древнее в обычном смысле. Древний по-другому. Древность как физическое свойство воздуха, камня, реки. Ему предстояло уместить три тысячи лет истории в предисловии. А никто ещё не нашёл, как написать три тысячи лет.

— С чего начать? — произнёс он вслух, не то себе самому, не то Жомару, который его слушал.

— С того, что не меняется. С Нила. С ежегодного разлива. С времён года. Всё остальное — фараоны, династии, завоевания — преходяще по сравнению с этим. Начните с географии. Остальное придёт.

Фурье записал. Он почувствовал, как что-то развязывается у него в груди. Не география в техническом смысле, не широты и меридианы. География как форма мира, налагающая на людей свои ограничения. Нил, который то поднимается, то спадает. Долина между двумя пустынями. Цивилизация как ответ на физическое ограничение. Это он мог написать.

Он начал двенадцатую страницу. На этот раз он не стал её рвать. Он написал три строки и перечитал их. Они держались. В третьей говорилось, что Нил проходит сквозь века, и века не проходят сквозь него. Это было несовершенно. Но это было живо. Это было начало. Он продолжил.

Жоффруа Сент-Илер в те же дни писал заметки, из которых вскоре родятся его первые статьи о фауне Нила. Он работал в своей каюте, окружённый банками, принайтованными от качки. Запах спирта, в котором сохранялись животные, стоял в тесном пространстве.

— О чём вы думаете, когда пишете эти описания? — спросил его однажды вечером Жомар.

— Я думаю о тех, кто прочтёт их через пятьдесят лет. Я хочу, чтобы они увидели то, что видел я. Ни больше ни меньше. Только то, что есть.

Это был его девиз, хотя он и не облакал его в слова: передавать верно, не искажая, оставлять потомкам наблюдение, а не толкование.

Утром 10 октября корабль вошёл в гавань Валлетты. Учёные сошли на берег и небольшими группами бродили по улицам укрепленного города. Прошло чуть больше года с тех пор, как французский гарнизон под британским давлением покинул остров, и теперь «Юнион Джек» развевался над бастионами, на которых Жолуа видел трёхцветное знамя во время остановки в июне 1798 года.

— Мы взяли этот остров за три дня, — сказал Фурье с меланхолической иронией, созерцая укрепления Валлетты. — Мы потеряли его после двух лет осады. Вот наша египетская история вкратце: блестящие победы, безмолвные уходы.

Жолуа устроился перед собором Святого Иоанна и быстро набросал его строгий фасад. Не для «Описания», которое касалось лишь Египта, а для себя самого, повинувшись инстинктивному движению руки, которая разучилась оставаться праздно перед замечательным зданием. Рисунок занял двадцать минут. Когда он поднял глаза, Жомар стоял у него за спиной.

— Вы всё ещё рисуете, — сказал Жомар с нежностью, окрашенной восхищением.

— Я буду рисовать всегда. Это мой способ видеть мир.

Вечером учёные собрались в трактире на ужин. Разговор, естественно, зашёл о том, чем каждый намерен заняться по возвращении в Париж. Жоффруа Сент-Илер хотел

вернуться на свою должность в Музее естественной истории. Фурье думал о префектуре Изера, которую обещал ему Бонапарт. Марсель с ностальгией вспомнил Национальную типографию.

— А вы, Жолуа? — спросил Жоффруа Сент-Илер.

— Я? Я буду работать. Вот и всё. Эти рисунки сами не выправятся.

На рассвете 11 октября корабль снялся с якоря и взял курс на северо-запад. Западное Средиземноморье, более прохладное и бурное, чем восточное море, своими серо-зелёными красками напоминало им провансальские берега их юности.

Во время этой последней части плавания — пять дней от Мальты — учёные каждый день собирались в большой каюте, чтобы обсудить «*Описание*». Кто что напишет. В каком порядке. Сколько будет томов.

— Это «*Описание*» должно стать энциклопедией, — сказал Фурье. — Не несколько таблиц с пояснениями, а всё, что мы видели, измерили, наблюдали. Памятники, география, естественная история, современное общество. Не менее двадцати томов.

— Эти таблицы будут безупречны или их не будет вовсе, — сказал Жолуа. — Лучшие гравёры Парижа, сколько понадобится времени. Один изъян — и начинаем заново.

Жомар хотел полный географический атлас, первые точные карты всей долины Нила. Жоффруа требовал почётно́го места для естественной истории. Марсель думал об оттисках с Розеттского камня.

Каждый думал о том, что останется от него. Жомар на носу корабля поднимал глаза от своих тетрадей. Берег был ещё не виден. Он подумал об измерениях в своих тубусах: через сто лет кто-нибудь воспользуется ими, не зная его имени. Ему этого хватало.

16 октября, ясным осенним днём, на горизонте наконец показалась Франция: сначала тёмная низкая линия, затем, по мере приближения, очертания мысов и холмов. Франция. Они не произнесли ни слова. Говорить было нечего.

В шесть часов утра 17 октября корабль вошёл в прибрежные воды Прованса. Осенний свет на море был не таким, как в восточном Средиземноморье. Более бледный, более рассеянный, с лёгкостью, контрастировавшей с плотным светом Египта.

— Я узнаю этот свет, — сказал Жоуа Жомару. — Это свет Франции. Я не знал, что у света есть родина.

Берег приближался. Теперь можно было различить известняковые скалы, бухточки, первые рыбацкие дома.

— Мы возвращаемся домой.

Это простое слово вмещало всё: облегчение, сожаление, усталость, предвкушение предстоящей работы. Словно Египет был отступлением, а настоящая жизнь теперь возобновлялась. Но оба учёных знали, что всё наоборот. Настоящая жизнь была там, в те напряжённые годы. То, что открывалось перед ними, было обычным миром.

VI – Возвращение во Францию

Корабль причалил в Тулоне 18 октября 1801 года, через три года и пять месяцев после отплытия французской эскадры из того же порта в мае 1798 года. Обстоятельства возвращения контрастировали с обстоятельствами отплытия. Вместо флота из трёхсот пятидесяти кораблей, перевозивших тридцать восемь тысяч солдат, несколько британских судов доставляли остатки разбитой армии.

Учёные сошли на берег в Тулоне с чувствами, которые никто из них не смог бы назвать точно. Франция изменилась. Они изменились ещё больше.

Жолуа спустился по трапу британского корабля и ступил на тулонскую набережную. Мокрый, холодный камень. Запах соли и дёгтя. Чайки, кричащие над портом.

Жолуа остановился, пропуская остальных вперёд, не говоря ни слова и не целуя землю. Он смотрел на набережную, на здания, на холм над городом, на серое октябрьское небо. Воздух был холодным и влажным. Средиземноморский холод октября, не похожий на сухой холод Египта. Он вдохнул его полной грудью и ждал, пока тело вспомнит.

Ящики — рисунки Жолуа, коллекции Жоффруа Сент-Илера, оттиски Марсея, инструменты, рукописи — были выгружены под их присмотром.

Они собрались в тулонском трактире.

— За Египет.

Фурье поднял бокал.

— За тех, кто оттуда не вернулся.

Они выпили молча. Вечер закончился рано.

На следующее утро портовые власти Тулона прислали офицера для официальной выгрузки ящиков. Офицер был молод и ничего не знал о Египетской экспедиции, кроме того, что писали о ней парижские газеты. Он с канцелярской дотошностью изучил транспортные накладные, пересчитал ящики и указал надёжный склад близ набережной.

— Эти предметы составляют научное достояние Республики, — сказал ему Фурье тоном, не терпящим возражений. — Они будут отправлены в Париж под охраной как можно скорее. Позаботьтесь, чтобы склады были сухими и надёжно запирались на ключ.

Офицер поклонился и исполнил приказ. Фурье инстинктивно вернул себе тон парижского чиновника, уверенность человека, говорящего от имени учреждения. Три года в Египте не стёрли этого.

После полудня несколько учёных собрались в кабинетах морской префектуры, чтобы составить свои первые официальные доклады для министерства внутренних дел. Эти доклады должны были засвидетельствовать, что Комиссия по наукам и искусствам выполнила свою миссию, что её коллекции сохранились в целости в той части, которая была спасена, что работа над изданием может начаться. Фурье твёрдой рукой написал главный доклад, не упоминая о потерях, понесённых по вине британцев, иначе как в фактической заметке в приложении.

— Оставим политику тем, кто ею воспользуется. Наша роль — изложить, что мы сделали и что привезли. Остальное принадлежит историкам и дипломатам.

Жомар, перечитывая доклад через его плечо, кивнул. Ему было двадцать три года. Вся жизнь открывалась перед ним, и эта жизнь уже была отмечена опытом, какого не будет у большинства людей. Ему этого хватит. Эта мысль утешила его.

Последние часы в Тулоне ушли на административные формальности, контрастировавшие с необычностью только что пережитого. Бланки, подписи, официальные печати. Бюрократия Консульства втягивала Египетскую экспедицию в свои обычные каналы.

Жолуа с молчаливой иронией отметил, что чиновник, регистрировавший ящики Комиссии, обращался с ними так же, как обращался бы с грузом муки или шерсти. Исключительный характер содержимого нигде не проявлялся. Сорок два ящика. Только это и видела бюрократия.

— Вот так цивилизации хранят свою память. В административных бланках, которые никто не читает.

Фурье улыбнулся. Это было правдой, и на этом же принципе держалась его надежда, что *«Описание Египта»* переживёт

режимы и войны. Его занесут в каталоги, опишут в инвентарях, будут читать поколения учёных, которые никогда не слышали ни о Фурье, ни о Деноне, но будут читать их слова.

На следующее утро они отправились в Париж.

Путешествие длилось около недели по главной дороге, которая пересекала долину Роны, а затем шла дальше на север через Бургундию. Учёные ехали в общественных дилижансах, а их драгоценный багаж следовал отдельно в надёжно охраняемых грузовых повозках.

Во время этого путешествия им представилась возможность наблюдать Францию и убедиться в серьёзных политических переменах, произошедших за время их египетского изгнания. Франция сменила режим.

В Авиньоне перед дилижансом ждала толпа. Люди спрашивали о сыновьях, братьях, мужьях, о которых ничего не слышали три года. Фурье сошёл и терпеливо отвечал. Он знал не обо всех.

Эта сцена запомнилась ему сильнее, чем пирамиды. Великое приключение имело фоном простую реальность: люди, которые ждали. Там была женщина лет пятидесяти с миниатюрным портретом в руке. Она ни о чём не спрашивала. Она просто смотрела на лица сходявших солдат. Фурье отвёл глаза. Некоторые будут ждать всегда.

Проезд через Лион стал поводом для двухдневной остановки. У нескольких учёных в этом краю были семьи или друзья, и они воспользовались ею для импровизированных встреч. Фурье, чья семья жила в Осере, ограничился письмом из Лиона, извещавшим о его скором прибытии в Париж.

Жолуа же воспользовался этими двумя лионскими днями, чтобы посетить знаменитого гравёра, чью работу он видел

до экспедиции. Он хотел оценить, можно ли привлечь этого гравёра к изготовлению таблиц для «*Описания*».

— Вот образцы, — сказал Жолуа, раскладывая на столе в мастерской несколько своих альбомов.

Гравёр долго рассматривал рисунки. Его технический взгляд оценивал трудности. Иероглифические строки требовали предельной точности, в барельефах были оттенки глубины, трудно передаваемые в плоской гравюре, общие виды храмов требовали владения перспективой, которой владели не все гравёры.

— Это серьёзная работа. Я могу за неё взяться. Но мне понадобится время. Много времени.

Жолуа посмотрел на руки гравёра. Широкие, твёрдые, с мозолями в тех самых местах, какие оставляет только резец. Руки, не похожие на его собственные. Его руки рисовали. Эти будут гравировать. Этот переход от одного движения к другому он всё ещё плохо понимал. Придётся учиться вместе.

— Время у нас есть. Чего у нас нет, так это права делать кое-как.

Они договорились об основных условиях. Жолуа записал имя в свою тетрадь. Этот лионский гравёр был именно тем, кого он искал.

Вечером, возвращаясь в трактир, Жолуа застал Фурье в общей зале.

— Бонапарт нас бросил, — сказал он. — А теперь он использует нашу работу для своей славы.

Фурье попытался смягчить это суровое суждение.

— Без него нас не было бы там. И у него есть средства, чтобы финансировать «*Описание*». Будем помнить об этих двух фактах.

В Лионе Жолуа купил в книжной лавке экземпляр собственной переписки с Институтом, изданной в его отсутствие. Книготорговец его не узнал. Читать свои египетские письма во Франции было странно. Словно другой человек пережил этот опыт и отчитывался перед ним издалека. Он узнавал слова, но не совсем голос. Его слог изменился. Он стал прямее, меньше заботился об эффектах. Возможно, это было к лучшему.

— Я уже не тот человек, что отплыл из Тулона в мае девяносто восьмого, — сказал он Жомару в дороге.

— Нет. Никто не остаётся прежним.

Въезд в Париж через предместье Сент-Антуан совершился в сумерках. Город был больше в его воспоминании, чем в действительности. Он идеализировал Париж за месяцы в Египте, превратив его в символ всего, чего ему не доставало. Реальность города поражала его прозаической цельностью. Те же улицы, те же запахи, тот же стук повозок по мостовой.

— Париж всё тот же Париж.

— Издалека едете, сударь? — спросил кучер.

— Из Египта.

— А, — сказал кучер. — Говорят, там красиво.

— Это больше, чем красиво. Но надо вернуться, чтобы узнать, чего это стоит.

Прибытие в Париж 28 октября прошло скромнее, чем хотелось бы некоторым. Ни парада, ни официального приёма, ни речей. Армия Востока вернулась побеждённой, и у консульского правительства не было причин праздновать капитуляцию. Бонапарт уже воссоздал свою легенду без Египта. В официальных речах кампания превратилась в великодушный эпизод, акт научного интереса, которому пришлось уступить обстоятельствам, а не в открытое военное поражение.

Жолуа предоставил спутникам разойтись и один вернулся к себе на улицу Сен-Доминик. Квартира была заперта. Его семья, предупреждённая письмом из Тулона, велела снова открыть ставни. Он вошёл, положил пальто, сел в кресло, где привык читать. В камине горел огонь. Тепло на лице было мягким, ровным, тепло горящих дров, не имевшее ничего общего с египетским.

Всё стояло на своих местах. Библиотека, картины, письменный стол. Три года Египта, а Париж не сдвинулся с места.

Он взял с полки чистую тетрадь, первую попавшуюся, и написал в начале первой страницы: «Октябрь 1801 года — Работы начинаются». Затем закрыл тетрадь и пошёл спать.

Семейные встречи состоялись в последующие дни, по мере того как новости распространялись среди близких. Родители, друзья, прежние коллеги. Каждому хотелось рассказов, описаний, историй. Правда ли пирамиды так велики, как утверждают путешественники? Выносима ли жара? Правда ли было так страшно, как давали понять письма?

Жолуа отвечал терпеливо, подбирая рассказы к собеседникам. С родителями он избегал подробностей сражений и болезней. С друзьями-учёными вдавался в подробности памятников. С широкой публикой держался в регистре удивления и чудесного. Эту способность менять рассказ в зависимости от слушателей он узнавал в себе как искусство, которым, как он думал, не обладал. Оно пригодится ему для *«Описания»*.

— Даже больше. Слухи всегда уступают действительности в том, что невозможно вообразить.

Эта фраза принесла ему несколько недоверчивых взглядов и несколько приглашений на ужин к парижанам, жаждавшим услышать о его приключениях. Он принимал их,

рассказывал, но всегда с чувством, что слова передают опыт. Египет не рассказывался. Он был прожит. И теперь он жил в медных тубусах, сложенных в его квартире и ждавших, когда их переведут в гравированные таблицы.

В ту ночь он заснул с этой мыслью. Настоящий труд ещё не начинался. Он начнётся завтра и продлится двадцать лет. Это была точная мера того, за что они взялись. И двадцать лет казались ему в тот миг одновременно вполне разумными и головокружительными.

В декабре, когда первое волнение встреч улеглось, учёные приступили к конкретной организации работы.

10 декабря Фурье был принят Бонапартом в Тюильрийском дворце. Коридоры были широкими и холодными, тепло каминов не доходило до приёмных. Бонапарт ждал его в кабинете, стоя, как всегда. Фурье представил проект издания. Бонапарт, понимавший политическую выгоду от прославления своей египетской экспедиции, несмотря на её военную неудачу, благосклонно принял это предложение.

— Публикуйте, — сказал Бонапарт. — Я делаю из этого государственный проект.

Бонапарт официально постановил, что французское государство полностью оплатит подготовку и печать *«Описания Египта»* и что это издание будет считаться приоритетным национальным проектом. Он назначил редакционную комиссию в составе Фурье в качестве главного редактора, Денона в качестве художественного руководителя, ответственного за таблицы, и нескольких других учёных в качестве отраслевых редакторов, ответственных за различные тематические части.

Учёным предоставили кабинеты в правительственном здании в Париже, где они могли бы работать ежедневно. Были выделены значительные средства на оплату

профессиональных гравёров, вспомогательных рисовальщиков, секретарей-переписчиков.

Денон посвятил весь декабрь приведению в порядок своих тысяч рисунков, чтобы начать работу по превращению беглых набросков в тщательно проработанные гравированные таблицы. Он разложил рисунки по памятникам и по типам. Общие виды, архитектурные детали, барельефы, иероглифические надписи, планы, вертикальные разрезы.

— Эта предварительная организационная работа необходима, — объяснял он помощникам, — прежде чем можно будет приступить к самой гравировке. Без строгой систематической организации мы потеряем недели, тщетно разыскивая нужные нам рисунки. При такой методичной организации по местам и по типам мы сможем работать эффективно.

Он начал отбирать лучших парижских гравёров по меди, чтобы поручить им тонкую работу по воспроизведению своих рисунков. Он встречался с каждым возможным гравёром, рассматривал образцы его прежних работ, подолгу обсуждал стандарты качества, которых потребует.

Первые контакты с гравёрами обнаружили непредвиденную трудность. Эти превосходно обученные мастера умели воспроизводить оригинал в любом условном стиле. Но рисунки Денона не принадлежали ни к какому условному стилю. В них была свобода штриха, торопливость, плодотворная неточность, которую академическая гравюра не умела передать.

— Вам придётся воспитать свой глаз. Эти условности — не неумение. Они подчиняются логике, которую вы должны понять, прежде чем воспроизводить. Гравёр, не понимающий, почему египетское лицо нарисовано так, станет исправлять и наделает грубых ошибок.

Эта работа займёт больше времени, чем он предполагал. Но было ясно, что Денон не пойдёт на уступки и что «*Описание*» станет величайшим трудом, в каком он когда-либо участвовал.

Фурье со своей стороны продвигался в работе над историческим предисловием. Он принял тон учёного размышления, соответствовавший размаху проекта. Каждая фраза была взвешена. Он не хотел, чтобы «*Описание*» было просто иллюстрированным каталогом. Он хотел, чтобы это был акт мысли, интеллектуальный памятник, сопоставимый с «*Энциклопедией*», текст, который сказал бы потомкам, что Франция поняла в Египте и, быть может, что Египет говорил о Франции.

Декабрь 1801 года завершался в этом сосредоточенном труде, в этих кабинетах и мастерских, где обретало форму великое творение. Никто из учёных тогда не мог знать, что понадобятся ещё годы, чтобы довести его до конца, что двадцать три тома *ин-фоллио* «*Описания Египта*» будут завершены лишь в 1829 году. Почти тридцать лет работы, чтобы отчитаться о трёх годах экспедиции. Эта несоразмерность, возможно, и была точной мерой того, что они увидели.

Собрание 19 декабря в Институте Франции стало первым официальным собранием Комиссии по наукам и искусствам после её возвращения. Фурье тщательно организовал созыв, разослав личные письма каждому ещё живому члену — около тридцати погибли в Египте, — с приглашением встретиться в большом зале Института.

Их было около шестидесяти, съехавшихся со всей Франции. Некоторые не виделись с самой Александрией, со дней капитуляции и посадки на корабли. Они встретились со сдержанным волнением выживших, разделивших опыт, который никто другой не может понять до конца.

Фурье председательствовал на собрании с подобающей торжественностью, напоминая о выполненных работах, преодоленных трудностях, понесённых потерях, называя имена умерших коллег, затем излагая план издания «*Описания*», финансирование, полученное от консульского правительства, предварительный график.

— Эта работа потребует времени. Может быть, десять лет. Может быть, больше. Каждого из вас привлекут к написанию своей части. То, что мы начали в Египте, мы завершим здесь, в Париже, в наших кабинетах и библиотеках. Приключение было там. Труд будет здесь.

Денон, сидя среди собравшихся, слушал, думая о своих альбомах в квартире, о всех этих рисунках, ждавших гравировки. Работа, сделанная им в Египте, была лишь половиной работы. Начиналась другая половина.

Последняя неделя декабря ушла на составление первого официального доклада Комиссии по наукам и искусствам министру внутренних дел. Этот доклад в девяносто две страницы содержал опись того, что Комиссия совершила, что привезла и что предполагала издать.

Основную часть написал Фурье, художественную — Денон, естественнонаучную — Жоффруа Сент-Илер. Марсель — часть, касающуюся языков и рукописей. Документ, сдержанный и точный, произвёл впечатление на министра, который передал его Бонапарту с благоприятной запиской.

Бонапарт, следивший за ходом работы над коллекциями с самого своего возвращения во Францию два года назад, вызвал Фурье на рабочую встречу. Он хотел, чтобы «*Описание Египта*» стало не только научным памятником, но и политическим, прославляющим его восточный поход. Обе цели не исключали друг друга, но их сосуществование требовало от учёных осторожного лавирования.

— Мы будем служить науке, — сказал Фурье Денону после встречи с Бонапартом. — А Бонапарту позволим думать, что мы служим его славе. Так всегда и финансировались великие научные труды.

Денон улыбнулся. Пожалуй, лучше этой формулы он не слышал для описания их положения с самого начала экспедиции.

Бонапарт принял доклад Комиссии с неподдельным интересом. Он питал подлинное интеллектуальное любопытство к некоторым сторонам экспедиции: пирамидам, Розеттскому камню, колоссальным храмам Фив. Год спустя он с увлечением прочтёт «Путешествие» Денона и будет рассказывать о нём друзьям.

— Ваш Денон хорошо пишет, — сказал Монж. — Для учёных это редкость. Его письма о пирамидах — лучшие описания, какие я читал.

— Он видит то, что описывает, — сказал Бонапарт. — Он художник не меньше, чем учёный.

Бонапарт кивнул. Через несколько недель он дал Денону знать, что у него есть для него замысел, не вдаваясь в подробности.

Для учёных, продолжавших работать над «*Описанием*», мысль о том, что Денон может получить пост на самой вершине, была доброй вестью. Эта перспектива обеспечивала им влиятельного, понимающего и осведомлённого собеседника в правительстве.

Финансирование, которое выделял Бонапарт, было щедрым, но не безграничным. Учёным вскоре пришлось столкнуться с экономической реальностью монументального издания. Гравёры стоили дорого, печать крупноформатных таблиц ещё дороже, а качественная бумага обходилась недёшево.

Фурье разработал смешанный план финансирования, сочетавший государственные кредиты с подпиской

библиотек, академий и состоятельных частных лиц. Эта схема, позволявшая контролировать расходы и одновременно расширять распространение, предвосхищала модели финансирования крупных научных изданий девятнадцатого века.

Денон со своей стороны договорился с одним парижским издателем о выпуске своего *«Путешествия по Нижнему и Верхнему Египту»* отдельным томом, до коллективного *«Описания»*. Эта быстрая публикация, уже в 1802 году, позволила бы поддерживать интерес публики к древнему Египту и создать благоприятную почву для восприятия *«Описания»*, когда оно выйдет.

— Мы публикуем в два приёма. Сначала моё *«Путешествие»* — для широкой публики и чтобы не терять разгона. *«Описание»* потом — для учёных и для вечности.

Назначение Денона генеральным директором национальных музеев, объявленное консульским декретом в ноябре 1802 года, стало неожиданностью как для него самого, так и для его коллег по Комиссии. Бонапарт принял это решение после того, как прочёл *«Путешествие по Нижнему и Верхнему Египту»* и после нескольких бесед с Деноном об искусстве и коллекциях.

Этот пост, которого он не добивался и который Бонапарт приберёт для него со времени их разговора в декабре 1801 года, ставил Денона в самое сердце противоречия. Как директор музеев он будет надзирать за приобретением произведений искусства из стран, завоёванных наполеоновской империей. Он станет центральным звеном политики систематического грабежа, свидетелем которой он был в Египте, свидетелем критическим и бессильным.

Он всё же согласился. Он полагал, что с этой позиции сможет влиять на то, как составляются и представляются коллекции, настаивать на научном, а не триумфальном их

измерении. Это будет другая битва, которую придётся вести другими средствами.

Это глубокое противоречие между его будущей ролью и прошлым опытом не ускользнуло от него. Он записал его в дневнике с той холодной точностью, которую берёт для наблюдений, трудно переносимых. Затем он переключился на другое. Слишком многое предстояло сделать, чтобы задерживаться на парадоксах своего положения.

Последующие двадцать лет станут самыми плодотворными в его профессиональной жизни, хотя по природе иными, чем те, что он только что прожил. Более оседлыми, более административными, более институциональными. Но в своём роде не менее требовательными. Издание «*Описания Египта*» потребует выносливости и дисциплины, сравнимых с теми, каких потребовала сама экспедиция. Денон это знал. Двадцать лет работы впереди. Он вышел на улицу и пошёл пешком.

VII – Работа начинается

Жомар жил на улице Круа-Фобен со времени возвращения. Комната, холодная зимой, выходила на север, но в ней стоял большой стол, на котором он разложил свои листы с измерениями.

Прошёл год с его возвращения. Целый год он переписывал, сравнивал, исправлял. Его топографические съёмки теперь занимали двести листов миллиметровой бумаги, от Дельты до Асуанских порогов. Самая точная карта Египта из всех, что когда-либо были начерчены.

Он вычислял высоту Великой пирамиды: сто сорок шесть с половиной метров, то есть около двухсот восьмидесяти египетских царских локтей. Строители пользовались точной единицей измерения, и теперь эту единицу можно было восстановить. Он опубликовал значение в своих

заметках: 0,5236 метра. Египтологи будут пользоваться им сто пятьдесят лет.

Он думал и о Суэцком канале. Бонапарт его замышлял.

Лепер, главный инженер, совершил чудовищную ошибку. Он заключил, что Красное море почти на десять метров выше Средиземного, а потому канал невозможен без шлюзов.

Жомар уже сомневался в этих цифрах, не имея возможности это доказать. Доклад Лепера выйдет в 1803 году.

Эта ошибка обойдётся почти в полвека — до тех пор, пока Бурдалу в 1847 году не повторит измерения и не покажет, что оба моря почти на одном уровне, а Фердинанд де Лессепс не выроет канал за десять лет.

Жомар в своей холодной комнате смотрел на карту Нила. Каждый изгиб русла снят буссолью и теодолитом. Каждая деревня. Каждый храм. Долина Нила тянулась на десяти листах с севера на юг с такой точностью, что инженер мог бы предсказать, куда пойдёт вода, если построить плотину.

Век спустя британские инженеры, которые построят первую Асуанскую плотину, всё ещё будут сверяться со съёмками Жомара.

В тот вечер он записал в дневнике: «Весь этот труд — для того, чтобы инженеры следующего века могли управлять водой народа, которым мы не сумели управлять».

Он задул свечу. Ему оставалось переписать ещё сто десять листов, прежде чем Комиссия сможет начать печатать первый том *«Описания»*.

Октябрь принёс первые настоящие трудности.

Самая глубокая трудность была не технической. Это была проблема неорогифов.

Денон осознавал это каждый вечер, перечитывая заметки за день. Он нарисовал сотни колонн с надписями в Карнаке, в

Луксоре, в Долине царей. Он копировал их с точностью гравёра, знак за знаком, не понимая ни одного. *«Описание»* опубликует эти колонны. Тысячи читателей будут на них смотреть. Никто не узнает, что в них сказано.

Это был фундаментальный пробел, и никакого средства устранить его не было.

Марсель ясно выразил это на октябрьском заседании.

— Мы должны принять строго описательный стиль. То, что мы видим, а не то, что это значит.

«Описание Египта» вначале было идеей Фурье. Не совсем. Бонапарт приказал издавать, Жомар организовал, Денон поставил изображения. Но именно Фурье первым понял, чем должна быть эта книга. Памятником. Энциклопедией целой цивилизации, какой её застали.

Он будет писать историческое предисловие из своей парижской квартиры в течение двух лет. Сто шестьдесят плотных страниц, синтез всего, что было известно о Египте со времён греков.

Объём изображений был головокружительным. У Денона были его альбомы, у Жолуа и Девилье — свои, двести тридцать семь в общей сложности. У Жомара было двести листов съёмок. У Жоффруа — сотни таблиц по зоологии и ботанике. У инженеров были архитектурные планы каждого посещённого памятника. Всего восемьсот девяносто четыре таблицы, из них около шестидесяти цветных. Порядка четырёхсот гравюров за двадцать лет. Десятки рисовальщиков, многие из которых участвовали в экспедиции.

Таблицы были столь велики, что ни один парижский печатный станок не мог их отгиснуть. Конте — тот самый Конте, что делал карандаши в Египте, — до своей смерти в 1805 году придумал особое приспособление для самых сложных форматов, которое его преемники и воплотили.

Были построены новые станки. Некоторые таблицы занимали почти квадратный метр. Потребовались специально изготовленные листы бумаги с водяными знаками «*Древний и современный Египет*». Над иными таблицами приходилось работать по два года.

Первый том вышел в 1809 году. Последний — в 1829-м. Двадцать три тома тиражом в тысячу экземпляров на вержированной бумаге с водяными знаками. Коммерческое издание *Панкука* будет выходить с 1821 года в тридцати семи томах.

Фурье увидит выход первых томов, а затем и законченного труда. Он умрёт в 1830 году.

«*Описание Египта*» создало египтологию как дисциплину. Оно задокументировало памятники, ныне разрушенные, краски, ныне стёртые, места, ныне разграбленные. Оно позволило одному французскому учёному выработать свой метод дешифровки. То, что Франция действительно сохранила от Египта, — это сто шестьдесят семь умов и восемьсот девяносто четыре таблицы, которые они создали. То, что она украла — и слово это было точным, каково бы ни было оправдание, — находилось в Лондоне. Статуи были в Лондоне. Знание было в Париже.

Это было единственное доступное утешение. Оно было подлинным.

Остальные трудности — согласованность таблиц разных художников, стандартизация названий памятников — были решены рабочими процедурами, которые Фурье разработал в своей обычной манере: ясно, практично, пригодно к немедленному применению. Каждую таблицу сверяли с размерными съёмками. В качестве официальных названий приняли современные арабские, а древнегреческие давали в скобках.

Жомар предложил правило для названий. Фурье его применил.

В ноябре Денон приступил к составлению пояснительных текстов. Каждую таблицу должен был сопровождать текст: местонахождение, размеры, состояние сохранности, вероятная династическая атрибуция.

Денон написал тексты о главных храмах, которые он исследовал. Его литературный стиль, отмеченный влиянием зарождавшейся романтической прозы начала девятнадцатого века, сочетал научную точность описания с образными отрывками, передававшими эстетическое и духовное волнение, испытанное при созерцании этих величественных памятников.

Его описание Карнака начиналось с размеров. Ограда в пятьсот сорок метров на пятьсот пятьдесят, тридцать гектаров, сто тридцать четыре колонны в гипостильном зале, двенадцать центральных колонн высотой в двадцать один метр. Затем одна фраза: «Впечатление, производимое этим лесом колонн, подобно впечатлению от пространства, где человеческое величие и божественное величие сливаются воедино».

Фурье вычеркнул фразу. Денон её восстановил.

Фурье перечитывал тексты и вычёркивал лирические места. Денон их восстанавливал. Фурье вычёркивал снова.

— Мы занимаемся наукой, а не литературой, — сказал Фурье.

— Наукой о чём? — ответил Денон. — Эти памятники были построены, чтобы производить впечатление на того, кто на них смотрит. Если мы не передадим этого впечатления, мы просто каталогизируем камни.

Ни тот ни другой не уступил. Они позволили двум тонам сосуществовать. «*Описание*» будет двумя вещами сразу. Быть может, именно поэтому оно и останется.

Фурье жил на улице Фосе-Сен-Виктор, в двадцати минутах ходьбы от особняка Бове.

Он думал о Бонапарте. Не о его тщеславии или честолюбии, которым он давно перестал противиться, а о чём-то более простом: этот человек затеял экспедицию, изменившую то, как Европа смотрела на Египет, изменившую то, как сам Фурье смотрел на историю, и он, вероятно, мало что об этом знал. Для Бонапарта Египет был военной ошибкой, исправленной удачным государственным переворотом. Для Фурье он на всю жизнь останется самым насыщенным периодом из всех, что он знал.

В этом и была разница между теми, кто творит историю, и теми, кто её понимает. Редко это одни и те же люди.

Он остановился на углу улицы Сен-Жак. Молодой человек продавал газеты на холоде. Он купил одну, не читая, и пошёл дальше.

Жомар в своей комнате на улице Круа-Фобен всё ещё работал. Он снял слишком тесную комнату, где разместил свои тетради и приборы на столе, заваленном калькой. В тот вечер он отрабатывал систему картографической проекции, которую ему предстояло использовать для атласа «*Описания*». Долина Нила простиралась на восемь градусов широты, но никогда не превышала двадцати километров в ширину. Ему нужна была проекция, которая сохраняла бы пропорции этой узкой плодородной полосы, не слишком искажая расстояния.

Он провёл первый меридиан. Затем параллели. Затем устье Нила на севере, у Розетты. Затем течение реки к югу с её излучинами, которые он знал наизусть, промерив их за восемнадцать месяцев.

Карта обретала форму, штрих за штрихом.

Была полночь, когда Жомар положил перо. Он задул лампу, вместо того чтобы дать ей погаснуть самой, — привычка,

оставшаяся от Египта, где масло стоило дорого, — и некоторое время сидел в темноте. Двадцать пять лет. Он видел пирамиды, храмы Фив, пустыню, сражение, капитуляцию, измерил то, чего до него никто не измерял.

А теперь он чертил карту в холодной комнате.

Это было не хуже. Настоящая наука делалась по ночам, с терпением. Он вспомнил Абдаллу, *вакила* канала, который говорил ему, что учение никогда не кончается, потому что и канал никогда не перестаёт меняться. Теперь он понимал, что это значило. Египет был урожаем. Это было зерно, которое молотят и убирают в амбары, чтобы оно пережило зиму.

Жоффруа Сент-Илер, живший на улице Сены, писал Кювье. Они были соперниками и знали это. Но письмо, которое он сочинял, было не о соперничестве, это было письмо во имя истины.

Он описывал ему мумифицированных ибисов Саккары, крокодилов Нила, кошек Бубастиса. И описывал нечто такое, о чём ещё никому не говорил. Убеждение, пришедшее к нему в египетские месяцы, что виды не остаются неизменными, что они меняются вместе со своей средой.

Кювье будет с ним бороться. Они будут спорить тридцать лет в Академии. Эта распря станет одной из важнейших в европейской естественной истории. Она началась здесь, в парижской комнате, в декабре 1802 года, с письма человеку, которого он любил и с которым боролся одновременно.

Он закрыл письмо, запечатал его. Вечер подошёл к концу. На следующее утро он отправил его по почте.

Египет продолжал действовать на расстоянии, в умах тех, кто прошёл через него. Это не было ностальгией. Это было нечто более упрямое и более полезное. Иной способ видеть вещи, который не рассеется.

В декабре министерство финансов уведомило Фурье, что расходы превышают предусмотренное. Граверы поглощали сорок процентов бюджета. Качественная бумага — двадцать. Сократить, не жертвуя качеством, было невозможно. Фурье сказал об этом министру. Министр ответил, что посмотрит. Он посмотрел. Средства были сохранены. *«Описание»* продолжилось.

Жомар в своей комнате достал в тот вечер заметки о Фаюме. Ирригационные съёмки, которые он ещё не переписал для *«Описания»*. Каналы, расходы воды, чередование сакий. Он провёл там две недели, измеряя то, что феллахи знали, ни разу этого не записав. Гидравлическая система, столь же древняя, как фараоны, целиком хранилась в головах людей, которые пользовались ею с детства. Он записал её, перевёл в минуты и расходы, оформил так, чтобы инженеры следующего века могли её прочесть. Это был, пожалуй, единственный способ её спасти.

Он отложил тетрадь. За окном Париж был безмолвен. Где-то те же звёзды, что над Фаюмом. Те же быки, вероятно, ходящие по своим кругам.

В конце декабря двадцать томов находились в одновременной подготовке. Направление было намечено, команды расставлены.

Вечером 31 декабря 1802 года Денон отложил карандаш и посмотрел на медные тубусы, выстроенные вдоль стены его кабинета. Четыре медных тубуса, пронумерованных чёрной краской. В тубусе номер один — его самые старые альбомы, Александрия, переход через пустыню, первые виды пирамид. В номере три — съёмки Фив и Долины царей. В номере четыре — последние рисунки, сделанные в Каире накануне отъезда. Он встал, взял тубус номер один, отвинтил крышку. Вынул первый альбом. Тот раскрылся на беглом наброске. Палуба «Юноны», паруса и флот на заднем плане, нарисованные во время плаванья в мае 1798 года. Четыре

года назад. Почти другой человек. Он закрыл альбом, закрутил крышку. Поставил тубус обратно к стене.

За окном Париж заканчивал год в привычном шуме большого города. Перезвон колоколов, голоса, колёса экипажей по мокрой брусчатке. Через несколько часов 1802 год станет 1803-м. «*Описанию*» будет год. Потребуется ещё двадцать шесть.

Он дал пламени умереть и вышел на улицу. Некоторое время он шёл без определённой цели, в сухом холоде парижской ночи. На углу улицы Гренель он остановился и поднял глаза. Небо было чистым. Орион был там, над крышами, ровно там, где он видел его над пирамидами зимой 1798 года.

Те же звёзды. Та же ночь. Другая страна, другая жизнь.

Он вернулся домой, сел за стол, открыл чистую тетрадь. В верхней части первой страницы он написал дату. Затем ниже: «Храм Карнака, гипостильный зал. Центральные колонны: 21 метр. Диаметр: 3 метра 50. Папирусовидные капители».

Он приступил к составлению текста.

Бонапарт же не стал ждать. Первый консул с брюмера VIII года, консул пожизненно в 1802-м, император французов в 1804-м. Человек, сказавший каирским учёным, что их труд переживёт его, строил нечто более амбициозное и более хрупкое: режим. «*Описание Египта*» выйдет при Империи. Денон будет руководить её музеями. То, чем экспедиция была на деле — шаткой, неполной, дорогостоящей, — становилось в официальном повествовании основанием национальной славы. Так вещи и обретали прочность.

Денон всё ещё не закончил. Походы должны были возобновиться. Германия, Австрия, Пруссия. А вместе с походами — коллекции.

Конец второго тома